

СТЕФАН
ЦВЕЙГ

• В р е м я •









Stefan Zweig
ERSTES ERLEBNIS

Обложка работы
М. А. Кирнарского

Портрет — автотипия
со снимка Франца
Зетцера (Вена)—отпе-
чатан в типографии
им. Ив. Федорова

1929



Stefan Breuer

СТЕФАН ЦВЕЙГ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

**С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. ГОРЬКОГО**

**И КРИТИКО-БИОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ
РИХАРДА ШПЕХТА**

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

Т О М

I

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД

СТЕФАН ЦВЕЙГ

ЖГУЧАЯ ТАЙНА

ПЕРВЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

П Е Р Е В О Д

П. С. БЕРНШТЕЙН И

А. И. КАРТУЖАНСКОЙ

П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й

Г. П. ФЕДОТОВА

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД

Ц Е П Ь
ЦИКЛ НОВЕЛ

ЗВЕНО ПЕРВОЕ
ЖГУЧАЯ ТАЙНА

ЗВЕНО ВТОРОЕ
А М О К

ЗВЕНО ТРЕТЬЕ
СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ

Мне кажется, что у нас, в России, люди должны относиться друг к другу особенно бережно, — это требуется всей совокупностью условий современной жизни. Человек естьместилище творческой энергии, направленной к власти над силами враждебной ему природы. Величие и тяжесть задач, ныне поставленных человеком перед собою к разрешению, должны бы внушить нам именно такую, особенную бережливость к человеку. Но грубая циническая упрощенность, с какою ныне решаются молодежью вопросы пола, грозит не только количественным ростом личных драм, бесплодно поглощающих ценнейшую энергию молодежи. Нет, это уже становится общественным бедствием. Область половых отношений есть именно та область, где, как мы видим, упрощение поразительно легко низводит людей к животным.

Неоспоримо, однако, что любовь — та сила, которая, вместе с голодом, «правит миром», что именно на почве любви к женщине создана большая часть того — если не все то, что мы называем культурой, что, постепенно, уводит нас все дальше от животного и чем уже мы имеем право гордиться. Из борьбы с голодом возникла та жестокая «дивилизация», формы которой так безжалостно и бессмысленно угнетают людей, а из любви выросла та культура, которой мы обязаны сознанием, что переросли дивилизацию в ее современных формах.

Но значение любви, как возбудителя культуры, все еще недостаточно понято и оценено нами. Я думаю, что в дни такого мрачного хаоса отношений полов, какой сейчас мы наблюдаем, отличные книги Стефана Цвейга будут крайне полезны. Стефан Цвейг — редкое и счастливое соединение таланта глубокого мыслителя с талантом первоклассного художника. Он уже создал классически прекрасные вещи, но, читая его, всегда чувствуешь: этот человек способен дать еще больше. И каждым новым рассказом своим он оправдывает предчувствие читателя.

Не знаю художника, который умел бы писать о женщине с таким уважением и с такой нежностью к ней. Нам очень много рассказывали о «несчастной любви», но не помню рассказа, насыщенного таким чистейшим и целомудренным лиризмом, как «Письмо незнакомки» Цвейга. Сентиментальность ему незнакома, он, очевидно, органически не склонен к ней, он правдив и мудро прост, как истинный художник. Талант его, обладая силою, в то же время мягок; он убедителен даже тогда, когда разрабатывает крайне рискованные темы.

В рассказе «Смятение чувств» Стефан Цвейг, первый в литературе, изображает мучения однополый любви, и магия его таланта ставит читателя пред лицом еще одной тяжелой человеческой драмы. Об этой любви принято говорить с усмешкой презрения и отвращения к рабам ее, хотя она существует издревле, широко распространена среди восточных наций, оправдывалась Платоном. Современная наука доказывает, что эта любовь, охватывающая людей всех классов и наций, не «каприз пресыщенных» и извращенных, а злая игра природы, результат преобладания в половой железе мужчины женских клеток. Может быть, это преобладание является признаком вырождения изработавшегося мужчины, как такового, при-

знак его «дегенерации», о которой весьма настойчиво и доказательно начинают говорить женщины.

Основной темой своих книг Стефан Цвейг избрал труднейшую, именно — любовь. Но у него не найдете веселых и всегда несколько грубоватых анекдотов Мопассана, у него нет ничего подобного «смакованию» этой темы. Он — художник, чувствующий трагически, как об этом говорят его «Амок», «Двадцать четыре часа из жизни женщины» да и все его рассказы. Мне кажется, что до него никто еще не писал о любви так проникновенно, с таким изумительным милосердием к человеку. И, повторю, с таким глубоким уважением к женщине, в чем она давно нуждается и чего всемерно заслужила, как мать, товарищ и как неутомимый возбудитель творческой энергии мужчины.

Л. Галкин

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Когда я впервые услышал, что мои сочинения распространяются в России без моего разрешения, я испытал — признаюсь чистосердечно — искреннюю радость. Дело в том, что я отнюдь не разделяю точки зрения большинства моих коллег, которые ощущают отсутствие договора между немецкой и русской литературой как своего рода несчастье: напротив, я думаю, что ничто не способствовало в большей мере духовному сближению между Россией и европейскими странами, чем свободный, не стесненный никакими статьями закона обмен художественными ценностями. И в самом деле: еще гимназистом я мог покупать на карманные деньги и приобщать к своему духовному достоянию сочинения Достоевского, Чехова, Горького. И за это наслаждение чуткое отроческое сердце было обязано благодарностью единственно отсутствию литературной конвенции: она мешает иностранному писателю перешагнуть границу именно в пору наибольшего своего влияния. А так как переступать всевозможные границы — моя давняя и неискоренимая страсть, меня глубоко радовало, что мои книги, опередив меня, вступили в ту страну, которую увидеть и духовно сродниться с которой я стремлюсь уже много лет. Итак, если мои книги странствуют там без моего родительского разрешения — как бы

внебрачные дети, в отличие от узаконенных договором между автором и издателем, — я, тем не менее, с гордостью признаю их своими детьми и радуюсь их похождениям.

Но теперь, когда такое превосходное издательство, как «Время», предлагает мне предоставить ему исключительное право на русское издание полного собрания моих сочинений, я, без колебаний, отвечаю на это предложение сердечным согласием. Ибо здесь к радости присоединяется уверенность в том, что план издания будет разработан в моем духе и переводы будут выполнены со всей тщательностью. И единственное сомнение, которое меня тревожит, — чисто внутреннего порядка. Я не хочу умолчать о нем: вся наша новейшая литература, все наше творчество сегодняшнего дня, в сравнении с величием вашего поколения мировых творцов — поколения Тургенева, Достоевского, Толстого, — представляется мне слишком незначительным. Оглушенные и разбросанные взрывом войны, мы схватываем и изображаем только единичное — пусть с любовью, с горячим стремлением к истине. Может быть, добросовестные психологи, проницательные исследователи, страстные созидатели, — но мы не построили нового мира, не создали вокруг себя новой вселенной. Мы только свидетели и созерцатели великого перелома, и наша ценность — в правдивости и в смирении: мы должны сознавать, что мы только пролагаем путь новым поэтическим силам, создающим и преобразующим мир, — избранникам, которые были всегда и которые неизбежно придут вновь свершать свое святое и необходимое дело.

Исраэль Звеш

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Опыт характеристики

I

На обложке последнего тома новелл Стефана Цвейга помещен портрет поэта, и я все снова и снова разглядываю его: до того поражает меня противоречие между его внешностью и его внутренним миром. И в то же время: до того показательным представляется мне это противоречие для всего творчества Стефана Цвейга, для его мировоззрения, его деятельности и произведений.

Лениво опущенные плечи стройного, то выпрямляющегося, то снова стремящегося к покою тела; узкое, тонкое, я бы сказал—благовоспитанное лицо; темные волосы со скромным пробором; умные, мягкие, вопрошающие глаза, чуткий нос с небольшой горбинкой; иронически выходящая линия рта под коротко подстриженными усами; при этом тонкие, узкие, выразительные руки и твердая, стремительная, но как бы сдержанная походка—таков на вид этот человек почти бешеной воли. Внешность корректного министерского чиновника или предупредительного банковского агента; особенно, если наблюдать за ним во время какого-нибудь незначительного разговора: так спокойно и учтиво, так мило и любезно текут слова, произносимые чуть-чуть глухим, приятно равномерным голосом, который, казалось бы, неспособен возвыситься до гневного крика

или хотя бы стать резким и громким. Этот голос, которым он умеет с ослепительной четкостью выражать столько духовно значительного, глубоко пережитого, выражать так образно и ненавязчиво, кажется таким же сдержанным, как и весь человек, — старающийся не бросаться в глаза, ничего так не презирающий, как рисовку и позу.

Или эта внешность только маска? Во всяком случае, она свидетельствует о невероятном самообладании. Если в теле действительно отображается дух, то здесь, на ряду с духом, должна была орудовать беспримерная энергия, чтобы все то, что нередко может не нравиться и раздражать во внешности и обращении художника, ввести в рамки выдержанной воспитанности. Ибо то, первое впечатление обманчиво, и в часы подъема, в живой беседе, в минуты возмущения позорной современностью и ее людьми, Стефан Цвейг совершенно иной. Он не выходит из себя, не забывается; но это человек, трепещущий в страстном напряжении, отрешенный от всех условностей, всецело преданный тому, чему он служит, ненасытно ловящий все живое, с омерзением отворачивающийся от всякой общественной условности и лживых благоприличий, лихорадочно воспринимающий все, что есть в мире великого, жуткого, опасного и пьянящего, горящий желанием вскрыть и свою и чужую душу, отыскать в них самое тайное, понять его и превратить в образы; или же броситься в гущу жизни, помогать, находить близкое и родное, побеждать равнодушие и вялость, пробуждать душевное тепло и всеми силами духа бороться с насилием и принуждением. И при этом — граничащая с духовным распутством жадная страсть вопрошать, обогащаться роковыми судьбами, необыкновенными людьми, странами и народами, знанием и всеми созидательными силами современности. Когда слушаешь, как он своим тихим, точно просящим

голосом, дрожащим то от восторга, то от презрения, так спокойно и вкрадчиво говорит обо всем, что составляет его сокровенную сущность, тогда только постигаешь всю сложность и все неотразимое обаяние его личности, из внутреннего противоречия которой, благодаря упорной работе над собой, выковалось единство: безмерность переживаний и высшая мера в жизненном и художественном творчестве.

II

Среди тех, кто в наши дни работает в немецких землях над словом, Стефан Цвейг один из самых деятельных. Не только своим дарованием, но и своей волей и жизненностью. Он излучает почти беззвучную, но неустанно плодотворящую энергию: он является творческим возбудителем и в то же время осуществителем в области духовной жизни, притягательной силой для наиболее замечательных людей своего времени, участником в создании европейской общности и художником. В этом художавом, полном юношеских сил, всегда обращенном к новому, к обещающему, творящем, провозглашающем, требующем, советуящем человеку, чья буржуазно-патрицианская внешность — не только не стремительный темп — типична для австрийского поэта поколения восьмидесятых годов, чувствуется как бы постоянная радиоактивность. Он заряжен напряжением. Когда стоишь рядом с ним, то кажется, будто по всем направлениям расходятся тонкие, трепетные провода, слышится как бы легкое взрывное стрекотание гудящего мотора; не почтовая карета и даже не железная дорога, а лишь автомобиль и самолет, снабженные, разумеется, беспроводным телеграфом и телефоном, могут вторить этому жизненному ритму. Цвейг врезается в современность газетными статьями, строит грандиозный критический цикл, отражающий целый мир, основывает *bibliotheca*

mundi и тут же издает ее; наводняет идеями большое издательство, совершает лекционные турне, находится в непрестанном и продуктивном общении со всей мыслящей Европой, собирает ценнейшую коллекцию автографов, переделывает старые комедии и ставит их, открывает новых поэтов, выдвигает их и добывает им издателей, следит за переводом своих произведений, рассылает повсюду предложения и поощрения; всегда имеет время для друзей и всегда готов помочь им; создает «между делом» свою великолепную трехтомную «цепь» новелл, в которой содержатся первоклассные произведения и каждое звено которой обнимает круг переживаний в тот или иной период жизни, и при всем том находит в себе достаточно спокойствия для лирического творчества и ухода из современности в легендарные дали. Дух захватывает, когда видишь этот бешеный темп жизни. Но у самого Цвейга дух никогда не захватывает: у него же чувствуется ни суетливости, ни усилия. Лишь разумная экономия в распределении сил и изумительная способность к сосредоточению и использованию каждого часа делают возможной, казалось бы, непостижимую работу этого поистине «деятельного духа». Стефан Цвейг как-то сказал, шутя, про одного своего, действительно, весьма трудоспособного друга, что, должно быть, кто-то спит за него, иначе нельзя понять, как этот человек всюду поспевает. Это можно сказать и про него самого. Однако, он спит отлично. Он далек от созерцательности прежних поэтов, особенно австрийских, которые любили забиваться в угол, робкие, чувствительные и испуганные, недовольные жизнью или, во всяком случае, всегда немного обиженные. И уж, конечно, глядя на таких людей, как Стефан Цвейг и все подрастающее поколение, не назовешь наше время, грозящее взорваться от энергии, — эпохой вырождения.

Когда я оглядываюсь на жизнь и творчество Стефана Цвейга, больше всего меня поражает одно: с какой неслыханной силой воли он их воздвигал и привел к органическому строю. Словно уже в юности он оценил все свои возможности, поставил себе границы, понял свое назначение и заранее наметил план деятельности; он предписывает себе образ жизни, преследующий строго и предусмотрительно одну цель: стать не великим поэтом, но насквозь живым человеком, воспринимающим и перерабатывающим в себе всю полноту эпохи. Он становится как бы аккумулятором всего живого; он вбирает в себя все, что может стать отражением мира и современности, и делает это не как «литератор», не как собиратель материала, а как юноша, открытый всем явлениям жизни, страстно впечатлительный, алчущий духовной и умственной пищи, стремящийся не к писательству и уж, разумеется, не к успеху и славе, а лишь к внутреннему обогащению, к союзу со всем, что есть одухотворенного, к соприкосновению со всем человеческим, со всеми чудесами бытия, с чужими народами и обычаями; словом — к освобождению от всего связующего и условного. Его литературное творчество этого периода, такое благородное, прочувствованное и излщное, невольно привлекавшее внимание, казалось все же чем-то случайным и побочным; воспроизведение, а не созидание, отзвуки и перепевы захвативших его голосов искусства и современности. Конечно, оно не было в ту пору главным делом его жизни; он сам не знал, как и когда родились в нем эти стихи и драмы и как они вылились на бумагу. Это был скорее осадок прекрасной художественной атмосферы, созданной Густавом Малером, Ферруччо Бузони, Гофмансталем, Райнером Марней Рильке,

Стефаном Георге, Густавом Климтом и другими избранными художниками того времени, — атмосферы, которой дышал пробудившийся юноша. Однако, уже тогда стремление к широким горизонтам, желание окунуться в бурные потоки жизни, познать величие реального мира во всей его полноте было в нем сильнее всех литературных стремлений. И он отправился путешествовать. Характерно, что этот сын состоятельной семьи чуждался всякой роскоши и уже тогда, в своих странствиях, так же как и во всей дальнейшей своей жизни, избегал ненужного, показного комфорта и признавал лишь необходимое для скромного уюта и здоровой жизни. Он объездил далекие страны, посетил Индию и Китай, Африку, Канаду, Соединенные Штаты, Панамский канал, Италию, Испанию и Шотландию, часто бывал то в Париже, то в Берлине, то в Лондоне, то в Бельгии, где заключал союзы духовной дружбы, определившие его жизнь и ее внутренний строй. Благодаря им он перерос идею национальности и освободился от преград, опасных для людей творчества не столько тем, что замыкают их в границы родины, сколько тем, что порождают духовную отчужденность. Как ни ценно литературное творчество Цвейга, еще ценнее та роль, которую он сыграл, как европейский деятель, как гражданин Европы, вместе с лучшими людьми континента строящий мосты, сокрушающий предрассудки, как внутренне свободная личность.

Как велико было его почти странное равнодушие к собственному литературному творчеству и как ничтожно было его честолюбие, видно из того, что он даже едва пытался «превратить в книги» свои скитания и, мало того, целиком превратился в посредника, в истолкователя чужих ценностей. Сильные впечатления, полученные во время путешествий, сменились другими, которыми он обязан боль-

тому человеку: Эмиль Верхарн, мощный фламандский поэт, вошел в его жизнь (как это случилось, Цвейг рассказывает в одной из очаровательнейших своих книг — «Воспоминания об Э. Верхарне»), и он на долгие годы отказался от личного творчества, посвятив себя переводу его величавых творений, причем воздвиг ему великолепный биографический памятник, воссоздавая вместе с тем и другие поэтические произведения — стихи Рэмбо, Верлена, Бодлера. Уже тогда этот человек, такой сердечный, стремящийся всегда к истинно человеческому, понял свою миссию: быть вестником от народа к народу, и свое поэтическое назначение: быть совестью своего времени. И он выполнял свой долг как человек и как поэт; он выполняет его и сейчас, являясь все с той же вестью и готовый встретить ее и сам, и вкладывая в свои произведения все накопленное за те годы, в которые он познал всю прелесть и все ужасы мира и рос в общении с великими людьми.

Импонирующая своей неуклонной настойчивостью планомерность, которую улавливает ретроспективный взгляд, быть может в жизни и не осуществлялась с такой неудовимой ясностью и сознательностью. Как ни систематично развивалась жизнь этого, казалось бы, беспокойного странника, было нечто, чего он не мог предусмотреть и включить в свой план: это — война, которая переломила эту жизнь, как и жизнь всех, не только людей умственного труда, вырвав ее с корнем и бросив в неизвестность. С прошлым, казалось, надо было проститься навсегда; надо было переучиваться, переделывать свою сущность, чтобы жизнь не стала бессмыслицей; надо было спасать самое дорогое, углубиться в себя и создать себе новый мир. Все это пережил и Стефан Цвейг. Как он относился к войне, как он страдал из-за нее, как он ею возмущался, об этом

я скажу в другом месте. Несомненно, что в эти преступные годы ужаса, когда, казалось ему, весь мир превратился в сумасшедший дом, народы — в ослепленные толпы убийц и безумцев, и разум угас, он испытал ужаснейшие потрясения. Но странно: как-раз война, представлявшаяся ему такой ужасной, против увизительности которой он восставал еще в одной из первых своих драм «Дом на взморьи» как-раз война, как бы превратившая в безумие все его прошлое, опустошившая это прошлое и разорвавшая его в клочья, окончательно оформила жизнь Стефана Цвейга и помогла ему найти свое «я». Он впервые поднялся во весь рост; беззаботную игру своей прежней жизни и своего творчества он превратил в подлинную страсть. В его драматическом гимне — «Трагедия об Иеремии», — этом крике возмущения против презренной лжи, против преступной жестокости войны и стадных чувств народов, впервые вскипает бушующим потоком пробужденное в поэте чувство жизни и любви. Здесь впервые — не одинокий голос и не отгул родных высот, а призыв, обращенный к душе Европы; здесь впервые слышится то *furioso melancolico*, тот ритм, которым проникнуто все его существо. Но не то, что он так непосредственно и ясно выразил свою душу в этой, точно бредом порожденной поэме, явилось самым характерным для этих лет, а то, что необходимо было сделать выбор, что надо было спасти ценности эпохи и личного опыта от опустошающего напора войны, сохранить достижения всей своей прежней жизни; отбросить все случайное, искусственное и неценное, дабы отстоять существенное; отодвинуть накопленное «между прочим» и все превратить в деятельность и страсть — как в жизни, так и в творчестве. Стефан Цвейг этот выбор сделал; и при этом он впервые вполне нашел себя. Во время войны он сумел избежать убийств; пока он принужден был носить

мундир, он помогал всем, кому мог, избежать ужасающих последствий войны и бессмысленного служения механизации жизни и смерти. Впоследствии, следуя лучшему призванию, он уехал в Швейцарию и там, с ближайшим своим другом Ромэном Ролланом, призывом к человечности и братской помощью стремился облегчить великие страдания, порожденные войной; с Ролланом, чьи произведения он уже давно пропагандировал и о котором написал одну из своих прекраснейших, отмеченных европейским духом книг.

Когда рушился вокруг него оскверненный, разграбленный мир, когда близкие люди стали чужими друг другу, когда гибли все осязаемые блага и каждый очутился на краю бездны, надо было подвести итоги прожитой жизни, все привести в ясность, найти себя и начинать сначала, несмотря на окрестный мрак и на тяжелое сегодня, не допускавшее уже беспечных странствий по чужим краям и спокойного уюта созерцательной жизни. Надо было собрать весь свой опыт, окунуться в бурную, залитую кровью действительность и близким по духу, еще оставшимся на этом опустошенном материке, подать знак и пример, образ своего «я», воззвать к разуму. Это Стефан Цвейг и сделал с удивительной решимостью. Все легкое, беззаботное, играющее — отбрасывается. Он покидает столицу, женится, замыкается в одиночестве, в чувственно мягкой, наполненной колокольным звоном и альпийским ветром атмосфере Зальдбурга, самого австрийского из городов Австрии, озаренного красотой барокко и старой народной культуры, и там, выполняя со свойственной ему энергией и железной выдержкой начертанный им большой план, создает, наряду со всевозможными работами драматическими, лирическими и газетными, импонирующий ряд критических статей и новелл. При этом он продолжает

свою обширную и разностороннюю деятельность, хотя, быть может, и не с прежним Сименсовским размахом; но он все тот же посредник и глашатай нового творчества; попрежнему от него тянутся связующие нити, порою давние, порою новые, к лучшим людям всего мира, попрежнему он живет в высоком напряжении; но только он меньше отдается жизни и больше творчеству; творчеству, корнями своими вросшему в родную почву Австрии, но духовно — сверхнациональному. Его дом остается средоточием интеллектуального общения Европы. И его творчество все больше срастается с современностью и с европейской душой.

IV

Он начал в манере Гофмансталя и Рильке. По крайней мере, таково впечатление от первых его стихов, рано принесших ему венок славы, название которых, «Ранние венки», является как бы символическим предзнаменованием. Считали также, что «Терсит», удивительная по стилю, скорбная трагедия терзаний безобразного человека, является подражанием обповлеченной Гофмансталем античной драме, где современная полихромия слова оживляет мрамор стихов, и под широкой простотой сценического действия мерцает нервная тревожность и психологическая изощренность сегодняшнего дня. Но тот, кто читает теперь эти работы молодого Цвейга, найдет, что это не совсем так: в них гораздо больше личного, чем казалось вблизи. Несомненно, что его раннее творчество еще далеко от того страстного откровения, которое так убедительно в последних вещах, и очень может быть, что оно не вполне самостоятельно, что это скорее отзвуки, родившиеся в жадно прислушивающейся, восприимчивой молодой душе, трепетно отзывающейся на все звучания современности. Было бы удиви-

тельно, если бы было иначе; если бы юноша, тутто откли-
кающийся на все творческое, не был созвучно вовлечен
в горячий, весенний, многообещающий гул той пышно
расцветавшей поры, которою явилось для всех нетерпеливо
чающих последнее десятилетие прошлого века. Юная
Австрия пробуждалась. Иронический, меланхолический,
изящный Артур Шницлер, Гуго фон Гофмансталь с его
магической, надменно сверкающей молодостью, Герман Бар
с его мятежной, искрящейся жизнерадостностью, венский
Диоген Петер Альтенберг — переделывали старую культуру
и учили видеть и говорить по-новому. В живописи моло-
дежь Сецессиона перешагнула границы и вступила в связь
с возникающим искусством Франции, Швеции, Италии
и Шотландии. Осиротел дом Антона Брукнера, и Иоганн
Брамс простился с миром, но венская музыка все еще
была озарена их блеском, и старый волшебник Иоганн
Штраус все еще папгрывал танцы и возвещал веселье
и радость. Появился Густав Малер, юный, воинственный
в своем художническом фанатизме, зачинатель празднеств
жизни, редкий пример трудолюбия и служения искусству,
выразитель тоски и стремлений ищущего, неудовлетворен-
ного юношества, которое в нем и в его святой одержи-
мости нашло провозвестника и воплотителя всех своих твор-
ческих исканий и восторженно отдалось ему во власть.

Не то удивительно, что струны молодой, пламенно
цветущей души звучали в унисон с этой волшебной
эпохой; удивительно, что к отзвукам эпохи примешивалось
так много личных, самостоятельных аккордов. И еще уди-
вительнее, что в этом юноше, привлечшем к себе внимание
уже первыми своими стихами, такими благородными,
строгими и изящными, предвестниками большого таланта,
не было ни тщеславия, столь обычно сопутствующего
быстрому успеху, ни писательского зуда, нередко встре-

чающегося у тех, кому техника творчества дается легко. Он не смотрел на поэзию, как на приятное развлечение, ни, тем более, как на ремесло, и был изумительно равнодушен к своей работе. Наряду со стихами и трагедией появились лишь два небольших рассказа: «Любовь Эрики Эвальд» и «Страх», написанные в манере Шнидлера и мало характерные для Стефана Цвейга или хотя бы для той поры его творчества. Важнее, чем писание драм или романов, казалась ему интенсивная работа в реальном мире: оформление своей жизни.

Настали плодотворные годы, когда завязывались дружественные узы во всех интеллектуальных центрах мира, начало многообразных связей с реальной жизнью и с духом эпохи, столь характерных и важных для Цвейга; прежде всего — годы, когда он жил ради чужого творчества, как толмач и перслагатель, когда он выковывал свое оружие. Встреча с великим Верхарном превратилась для него в радостную близость: еще в венские студенческие годы, в бессознательном стремлении к слиянию жизни с искусством, он перевел на немецкий язык величественные, экзотически-бредовые, но все же мощно реалистические лиро-эпические поэмы бельгийского мастера, воспринявшего все многообразие жизни и воплотившего его в дифирамбические образы: мистерии больших городов, гимны труда, жизнь моряков и углекопов, идиллии и трагедии крестьянства, ландшафт бельгийской равнины, представшие исполинскими видениями и превращенные в порывистые стихи, где пылает социальная жизнь эпохи, гудят маховые колеса, дышит мирный покой природы, стонет душа порабожденного человека, где грезится будущее царство доброты и сострадания — как у Уота Уитмэна, который тоже почерпал свои глубоко человеческие поэмы из будней труда, из шестеста полевой былинки, из криков пастухов

и грохота машин. Быть может, именно это неистовое погружение в самые мутные глубины жпзнп, это полное слияние с изображаемым миром и были тем родственным элементом, который привязал переводчика к поэту, чей человеческий образ, грандиозный и в то же время трогательно детский в своем равнодушии к мирской славе и в своей патриархальной мягкости и мощи, был так отечески близок юному Стефану Цвейгу: год за годом, забывая о собственном творчестве, он передает лирику и драмы Верхарна, переводит его книги о Рубенсе и Рембрандте, пишет прекрасную монографию, составившую первый том изданного им собрания сочинений поэта, и при этом находит еще время переводить других французских поэтов и знакомить с ними публику; после приключений на чужбине, после скитаний по экзотическим странам он всякий раз возвращается к великому, любимому, старшему другу и к его творчеству, находя и новые силы и спокойствие в тишине деревни, где он проводит с Верхарном каждое лето. За эти годы Стефан Цвейг приобрел ясность взгляда на коренные вопросы жизни, любовь к широким полетам, равнодушие к мелким и суетным делишкам шумного базара и силу оставаться нетщеславным; и, наряду с этим, уверенность в словесном мастерстве, уверенность создающей руки.

В эту радостную и самоотверженную работу врывается война. И даже Верхарн, проповедник человечности, доброты и милосердия, становится жертвой всеобщей истерики ненависти. Он полон ярости против врагов, он обращает на тех, кто был ему безраздельно предан, брань и проклятия; он призывает к мраку разрушений, к безумию убийств. Для Стефана Цвейга война, которой он давно опасался и которую он так ненавидел, была событием потрясающим. Отношение Верхарна подействовало на него удручающе. К счастью, в это тяжелое время Ромэн Роллан

протянул ему руку братской помощи, иначе бы он погиб. Теперь же, несмотря на все свое отчаяние при виде униженного человечества, несмотря на торжество насилия, несмотря на неумолимо ясное предвидение конца, он находит в себе силы по-новому осознать пережитое. При виде ужасающего служения великого и милосердного человека инстинктам воющей толпы, он раз навсегда сознает бессмысленность всякой ненависти, безумие национальных распрей, преступность озлобления народов и гнусность кровавых пиршеств. *Au-dessus de la mêlée* — изречение Роллана, спутника всей его дальнейшей жизни, должно стать для него путеводной звездой в новом строительстве жизни. Друг и брат, совесть Европы, чистейший отзыв своей эпохи, Ромэн Роллан возвращает ему веру и надежду на будущее. Раскаianie Верхарна, его молчаливое возвращение к прежнему мирозерцанию, — правда, не послужившее сигналом к возобновлению дружбы и лишь после ужасной смерти поэта под колесами поезда окружившееся ореолом трагического героизма, — приводит Цвейга к познанию безусловной истины: простится только тот грех, что родился из страсти; никто не знает ни себя, ни путей своей жизни, пока не настанет роковой час, рвущий все условности, и не выбросит на свет из бездны лжи и цивилизации самые сокровенные, опасные и соблазнительные инстинкты крови. Это превращает Цвейга в человека сверхнационального, в художника-ясновидца, в антиморалиста, в неукротимого бойца против всякого ненавистничества и эгоизма. Теперь он воистину становится европейцем, воистину поэтом.

V

«Иеремия» — первая вещь этого периода, показавшая своему истерзанному, погибавшему творцу его высокое

предназначение. Это первый и самый бурный поэтический протест против той эпохи, в которую создавалась эта трагедия; это яркий, проникнутый болью призыв к борьбе против гнусного насилия; это иступленно-отчаянное, пропизанное бредом пророчество близкой гибели; это гневный суд над всеми легкомысленными и легковерными, над ошьяненными кровью, малодушными, тщеславными, бессовестными приживальщиками войны, над ее хвастливыми зачинщиками и жадными спекулянтами; суд над жаждущей пустых фраз и одурманенной ложью толпой, трусливо переходящей от победного торжества к пугливой растерянности. Трудно решить, не является ли эта библейски-пламенная, упоевшая словами драматическая поэма, несмотря на несколько захватывающих сцен, скорее поэмой, чем драмой. Эта словесная оратория, местами исключительно возвышенная, скорее всего — большой монолог с хорами, в котором не вполне преодолены опасные стороны повторяемости, широты и однозвучности. Поэту словно все еще мало его заклинаний, увещаний и проклятий, и в шумном, псалмопевческом блеске, в захватывающем, пылающем гневе этой поэмы он, несмотря на свои усилия, не сумел побороть излишнего пыла и преувеличенной страстности, некоторой чрезмерности и несдержанности стиля. Самое сильное кажется ему недостаточно сильным, постоянным повторением он хочет усилить убедительность, но этим лишь ослабляет впечатление. Каждую фразу он взвинчивает, каждое слово поджигает, создает оглушительный треск и взрывы, судорожный поток неудержимо гремящей речи, которая скорее утомляет, чем возвышает. Здесь недостаток экономии и строгости, порожденный пылающей полнотой чувств; бушующее отчаяние, сотрясающее поэта и его Иеремию, не знает меры и границ: оно низвергается, как водопад со скал, и увлекает в своем

течении все слабое и гнилое. Этот Иеремия говорит пламенным языком, мрачно сверкающими, великолепными образами, силой отчаяния и яростным издевательством, превосходящими библейский прообраз. Когда его ужасное пророчество превращается в ужасную действительность и он воскрешает в сердцах вечный Иерусалим духа, когда его гнев уступает место обету веры и любви, когда его по-неземному процветшее слово неколебимым упованием крепит истерзанный народ, лишая победителей победы, тогда таким грандиозным аккордом торжественности и величия звучит трагедия, что она сравнима лишь с освобождающей и возносящей красотой и трогательностью музыки «Matthäuspasion» и «Missa Solemnis». Я никогда не мог понять, почему творчество и язык Цвейга ставили в зависимость от Гофманшталя, с которым он не имеет ничего общего. Если можно его с кем-нибудь сравнивать, то лишь с Рихардом Беер-Гофманом, который в своей драме «Сон Якова» достиг такой же органичности и колокольной звучности слова и внутреннего чувства, как и Цвейг в «Иеремии».

Вот почему эта трагедия, до сих пор известная почти единственно, как книга, и не нашедшая подлинного сценического воплощения, еще ждет своего часа. Во время войны ее оттесняла цензура, а потом — более властная действительность. Но она не останется немой, не только потому, что она дышит посланничеством и ответственностью, мужеством и совестью; и не только потому, что это пламенное обвинение против безответственных и бессовестных, против их преступных массовых убийств имеет не меньший смысл и цену и во время мира, который не может быть истинным, пока люди не предпочтут духовную культуру и плодотворную братскую работу внутренним распрям. Она потому не останется немой, что, кроме отра-

жения человеческого позора, здесь есть исповедание: исповедание поэта-избранника, призванного сказать то, чего никто не хочет слышать, призванного быть совестью мира и глашатаем и потому нежеланного. В этом драматическом произведении чувствуется все, что выстрадал за эти годы Стефан Цвейг. Это делает трагедию близкой каждому. Быть может, герой очерчен несколько расплывчато; быть может, это скорее трубный глас суда, чем живой человек; быть может, лишь народ, переходящий от упоения победой к трусливому отчаянию, покоряющийся любому болтуну и обманщику, да царь Зедекия, великодушный, но ограниченный, скованный косными понятиями о царской чести, — действительно живые образы. Но все же высота нравственного чувства, мощный подъем, искренность благовестия жизни, искренность проклятий смертоносной и разбойничьей героической и политической лжи и библейская музыка этой Песни Песней любви и мира ставят ее на много выше всего, созданного в литературе за время войны.

Это не первая драма, написанная Стефаном Цвейгом против насилия и безумия завоевательных походов. Уже за десять лет до того была поставлена его изумительно крепкая и живая пьеса «Дом на взморьи», действующая и на самые здоровые и на самые тонкие инстинкты, в которой напряжение фильма соединяется с такой прочувствованностью, силой и нежностью слова, какая редко встречается на сцене. Это — словесная симфония в трех частях, начинающаяся мотивом из «Коварства и Любви» (монаршая торговля пушечным мясом при наборе рекрутов) и заканчивающаяся мотивом из «Эноха Ардена», в которой звучат и возмущение, и сострадание, и голос родины, и в которой смешение блеска рассчитанных эффектов внешнего и внутреннего напряжения и рыдающей боли пере-

живаний создаст великолепный пример причудливой парадоксальности театрального воздействия. Но к лучшим произведениям поэта ее нельзя причислить.

Не является таковым, несмотря на всю свою привлекательность, и грациозная, остроумная миниатюра в стиле рококо «Превращенный комедиант», где изображено победоносное волшебство гениальной театральной вторжения Шекспира в чопорный придворный мир, возмущенный и обеспокоенный появлением странствующей труппы, ставящей «Ромео». Также и драматические работы, сделанные после «Иеремии», — лишь проселочные дороги на пути Стефана Цвейга; к ним относится «Вольпоне», грубоватая, шаловливо-язвительная комедия «без любви», вольная обработка темы Бен-Джонсона, задуманная, как шутка и как литературное упражнение; смелый каприз веселого часа, дарящий легкое наслаждение и легко забывающийся. Серьезнее и значительнее «Легенда одной жизни», где, в сочетании с элементами из биографии Рихарда Вагнера и Фридриха Геббеля, представлены угнетение даровитого сына отцовской славой и ложный пират, умышленно превращающий жизнь великого художника в легенду путем замалчивания и затушевки действительно пережитого. Стефан Цвейг совершенно правильно назвал эту пьесу «камерной»: она проникнута нежным и благородным тоном; это тончайшая, одухотворенная и прочувствованная камерная музыка, возвышающаяся в двух-трех оживленных сценах до мощной полноты звука и сильного драматизма. Привлекательное и благородное произведение, но все же не настолько общечеловечески значительное и не настолько полное, чтобы обладать прямой действительностью. Оно несколько бледно и глухо, и даже в те моменты, когда в нем прорывается скрытый огонь, ему недостает страстной силы творческого полета и горячего дыхания, так

пленяющего в рассказах и критических статьях Стефана Цвейга.

VI

Критические статьи Стефана Цвейга стремятся ввысь. Они служат духовными стропилами, поддерживающими здание европейской культуры; они показывают основные элементы, из которых складывается духовная жизнь нашего времени. Его новеллы нисходят вглубь. Они вскрывают стихийные побуждения, делают осязательными вечные, первобытные инстинкты, грозную природу человека, расплавленное ядро душевных глубин, которое может быть укрощено и затенено воспитанием и цивилизацией, но которое живо в каждом, опасное и разрушительное для одних, спасительное и освобождающее для других. Но в каждом он вскрывает его подлинную суть. Лишь те часы, когда отброшены все условности, когда выступает наружу первобытная, животная природа человека, его сокровеннейшие стремления, его подсознательная сексуальность, когда в остром духовном восторге он разрушает преграды, рвет бумажные законы, глумится над общественной мыслью, когда он покорствуется только себе и познает весь ужас жизни и смерти, — лишь эти часы считает он истинной жизнью. Он не знает середины — лишь упоение духа и возбуждение неукротимой жизни, с ее экстазами и катастрофами.

Но здесь не противоречие, — здесь единство. Кажущиеся крайности замыкаются в кольцо. Кто жадно вбирал все многообразие мира, кто искал людей и нашел лишь ложь цивилизации, тот знает, что истинные ценности бытия — душа и страсть; тот знает, что для каждого может настать секунда, когда в нем проснется зверь; знает, что ценно лишь то, что силой восторга превращается в реальность.

Цвейг научился напряженно жить каждый миг и в каждом своем произведении. Он может объяснить каждый час и своей и чужой жизни. Он их отпирает ключом, быть может, подаренным ему дьяволом, но отворяющим врата высшего познания. Он вырвал последние корни, связывавшие его с меццанством. Без стыда и без страха он хочет выявить в себе и найти в других человеческое, в чем бы оно ни сказывалось. Лучше от полноты сердца броситься в порок, чем прозябать в сухой узости параграфов. Не осуждал, принимать все, что выкинут на берег волны жизни, даже самое ужасное, даже преступление.

Для другого такой внутренний переворот мог бы оказаться опасным, и опасным не только в области искусства. Но не для Стефана Цвейга. Истоки его внутренней свободы — доброта и милосердие. Врожденный такт и мягкость умеряют его гневное якобинство; его неутомимая энергия приводит к внутреннему равновесию его жажду независимости, его упорное сопротивление всем преградам — этическим и социальным, как и ту испуганную беспомощность и язвительное торжество, которые он испытывает, замечая свое или чужое отражение в мрачных водах жутких ущелий души, где обитает тайна. Этому мирозерцанию, которому мы обязаны подлинно художественными произведениями, не хватает, может быть, лишь двух вещей, чтобы стать совершенным: понимающего, примиряющего юмора, прошедшего через все страдания, воспринимающего все великое и ничтожное лишь настолько серьезно, чтобы не терять покорной и сердечной улыбки, появляющейся обычно только к старости; и сознания, что всех бесстыднее — самый стыдливый и сдержанный, когда он больше не в силах вынести свою замкнутость и с диким неистовством обнажает грудь, выставляет напоказ свою наготу и, кощунствуя, с отвращением и садической жесто-

костью указывает на свои кровоточащие и гнойные язвы, на самые затаенные свои струпья и наросты.

VII

Я не знаю, лежала ли в основе круга новелл, озаглавленного «Цепь» и состоящего пока, как я уже говорил, из трех томов, та органическая целесообразность, которая ясна нам теперь. Я готов допустить, что первая книга, «Жгучая тайна» («Первые переживания»), — раскрывающая в нескольких рассказах детскую душу в том опасном возрасте, когда по-весеннему пламенно, беспомощно и тревожно брезжит рассвет готовый пробудиться эротики, — написана еще без ясной мысли о связующем плане. Пожалуй, лишь единство второго цикла — «Амок», чьи рассказы, в том числе два незабываемых, быть может, бессмертных, изображают роковую власть и величие страстных, мрачных соблазнов, позволило созреть мысли о создании «Цепи», которая, в смене непосредственных переживаний, подсознательных импульсов и подлинных сил жизни, изображая в отдельных томах различные возрасты и различные слои общества, давала бы картину нашей переходной эпохи. При этом надо отметить, что открытия и учение Зигмунда Фрейда остались не без влияния на психологическое построение этих новелл; это сказалось не столько в применении психоаналитического метода, во вскрытии мотивов и душевного механизма действующих лиц, сколько в признании психических подводных течений, в допущении того, что путем отыскания забытых, но определяющих моментов, многозначных и дробных ощущений, несложное, казалось бы, явление может быть представлено, как результат бесконечно сложных слагаемых. Не самая теория гениального исследователя Фрейда и не его эротическая односторонность нахо-

дят выражение в технике психологических приемов Цвейгановелиста; здесь чувствуется лишь сила его воздействия и то влияние, которое он оказал на писателей своего времени. Стефан Цвейг не подпал под это влияние (как многие другие), но его отношение к загадкам души было бы другим, было бы примитивнее и грубее, если бы он не переработал в себе Фрейда и не преодолел его, чтобы сохранить самобытной свою художественную индивидуальность.

Уже в «Жгучей тайне» есть скрытый мотив хрупкого нетерпения; хрупко построенные фразы этих рассказов словно тянутся вверх, как выведенные здесь дети, с физической и духовной болью переживающие свой рост: в них звучит страстное любопытство к жизни, каждое слово напряжено, нервно, заряжено электричеством, и пленительны повествовательный ритм, живая грация, легкость и красочность этих «рассказов из детского мира», создающих такие жизненные типы. Два из них написаны мастерски. Один — обязан своим возникновением газетной заметке, и в этом снова чувствуется, какая нужна пронзительность взгляда, чтобы в будничном обнаружить жуткую трагедию: ибо достаточно буднична история бедной гувернантки, забеременевшей от «молодого хозяина», грубо выброшенной за это из дома и кончающей жизнь самоубийством; или, вернее, она была бы будничной, если бы ее рассказали, как сентиментальное происшествие. Но порт рассказывает ее с точки зрения детей: как сперва незначительные признаки заставляют девочек-подростков заподозрить истину; как они принимаются подслушивать и сперва мало что понимают из услышанного; как понемногу, все с большей растерянностью и ужасом, они узнают, что их окружает ложь, что взрослые придумывают отговорки, чтобы утаить от них правду, что их собственная мать не-

искренна с ними и вульгарно груба с несчастной, виновной лишь в любви и доверчивости и погибающей из-за пошлых мещанских предрассудков; как дети, с точно изнасилованной душой, замыкаются в упрямой стыдливости и в страхе стоят перед жизнью, где торжествуют не любовь, не доброта, а притворство и низость. Это подлинное мастерство. И с таким же мастерством написана история жаждущего ласки мальчика из «Жгучей тайны», который ликует, думая, что завоевал дружбу эlegantного барона, и безгранично разочаровывается, убеждаясь, что эта дружба лишь средство, чтобы покорить красивую мать; озлобление гасит в нем все детское; точно зрелый человек, он становится хладнокровным шпионом, умышленно мешая этой паре, не решающейся сбросить личину, и доводя ее до бешенства своей надоедливостью; в нем растет злое наслаждение своей хитростью и своим упрямым превосходством; и, наконец, когда отрезвленная мать в немой мольбе требует от него рыцарского молчания, он снова становится ребенком, умиротворенно вернувшимся к грезам своего мира, хотя и более опытным, более защищенным от козней жизни. Это рассказано блестяще, и возрастающее напряжение, соразмеренность основных мотивов, стремительное и в то же время свободное дыхание рассказа — действуют неотразимо. Чарует равновесие в этой книге, где оба крайних рассказа вторят друг другу своими темами и как бы закругляют целое: они также полны изумительной, страстной прелести и нежного очарования неведения, полупробуждения, ожидания и перелома, которое придает этому переходному возрасту столько тревоги, столько сладостного и чудесного волнения. И надо всем — нежный рассвет и серебристая мгла.

Яркий, сверкающий свет разливает второй сборник новел названный по первому рассказу «Амок»; он имеет

право так называться, ибо люди, о которых там рассказывается, неудержимо, не внемля предостережениям, смета все преграды, несутся в бешеном беге, гонимые роковой силой ужасающих, лихорадочных переживаний. Лишь в великолепном, трогательном, хотя, может быть, несколько преувеличенном, почти невыносимо хватающем за душу «Письме незнакомки» чувствуется некоторое замедление немилосердно стремительного, точно пламенной лавой обжигающего ритма этой кипящей книги; лирическое растворение в бешенстве лихорадочных страданий невыразимо щедрой, нечеловечески преданной, неузнанной, забытой, но все же не возроптавшей женщины. Нежное, бесконечно трогательное стихотворение в прозе. Все остальное выковано из раскаленного металла; здесь раскрываются пучины подчеловеческого, стирается грань между законом и желанием, и мы видим, какой угрожающе тонкий пласт отделяет обыденное существование от кипучей пены тех глубин, где решается истинная жизнь. В «Амоке» истории одиноко живущего в Индии врача, к которому знатная дама из соседнего города надменно и повелительно обращается с требованием прервать ее беременность и тем спасти ее от гнева мужа, и который раздраженно и упрямо ставит условием, чтобы она за это отдалась ему, а потом, презрительно покинутый ею, возвращается к ней, как нищий, умоляя лишь о разрешении помочь, но приходит слишком поздно и может лишь облегчить последние часы искалеченной, умирающей от заражения крови женщине и собственной смертью обеспечить ей сохранение ее тайны. . . нет, не следует передавать «содержание»; это искажает, уродует основное, смывает фоны и все равно не дает почувствовать «сущности», заключающейся, конечно, и в самом разворачивании необыкновенного события, но, прежде всего, в задыхающемся, отчаянно несущемся,

жутком темпе речи, в отчетливых обликах рассказчика, слушателя и прочих действующих лиц и в том, как призрачно и в то же время отчетливо представлены излагаемые происшествия и сам корабль, на котором плывет рассказчик. Этот многосложный комплекс производит впечатление крайней простоты, так крепко он сплетен, так неудержимо, словно по раскаленному железу, несутся слова, подмечающие, однако же, тончайшие детали. То же и в странной, превращающей невероятное в убедительную правду новелле «Фантастическая ночь». Это история пробуждения, возвращения к жизни человека, застывшего в условиях уютной независимости, который—сперва по шаловливому капризу—становится вором и тут впервые, после многих лет, ощущает горячий луч жизни; он бесконечно возбужден и счастлив внезапной безудержностью, приводящей его в самые грязные низы, в зловонные лавчонки, к несчастной рахитичной проститутке, к сводникам и вымогателям,—и только с ними его покидает гнет одиночества; только здесь он сознает преступность эгоистического уединения и видит, как немного нужно любви и доброты, чтобы раскрыть душу самого несчастного, самого испорченного человека и пролить в нее луч счастья; он знает теперь, что ничего нет лучше, чем излиться, отдаться сполна и приносить радость другим, замкнувшись в своей тайне от всех издевающихся и благопристойных. И здесь мимолетный пересказ почти ошеломляюще богатого сюжета едва даст ничтожный намек на всю прелесть этой повести, врезающейся в память с изумительной настойчивостью. Может быть, и тут несколько преувеличенная страстность изложения производит впечатление излишнего; возможно, что из трех Геббелевских ступеней: «так может быть», «так должно быть» и «так есть» достигнута только вторая, и даже тут ипогда скажешь: «Так должно быть, но, может быть, так не должно было бы

быть»; и все же, несмотря на сопротивление, чувствуешь себя, в конце-концов, покоренным, убежденным и говоришь: «Так есть». Это относится и к остальным рассказам разбираемого тома, к уже упомянутому мною, трогательному до слез «Письму незнакомки», к возведенному в символ природы сюжету «Женщины и ландшафта», где на нескольких страницах дан образец поэтической силы внушения: так осязательно представлены жара и сушь безводной горной долины, что, кажется, сам томишься жаждой, чувствуешь, как язык прилипает к нёбу, и странное приключение с девушкой-сомнамбулой воспринимаешь, как нечто необходимое и естественное. Хотя последний из этих рассказов, «Улица в лунном свете», повидимому, восходит к более раннему периоду и носит скорее анекдотический характер, но даже и в этой маленькой новелле есть доля той вулканической страстности, которая с большей искренностью и непосредственностью сказывается у выкинутых из общества, ставших отбросами людей, чем у тех, кто выхолен, обеспечен и пригрет цивилизацией этого все более бездушного, все более механизированного, порабощаемого техникой мира.

И третий круг новелл, называющийся по главному рассказу «Смятение чувств», проникнут этой почти мономанической, страстной манерой сказа, этим нетерпеливым, стремящимся к сути темпом. Здесь опять-таки показано, что наше действительное «я» всегда настороже среди множества условностей, которые делают возможной социальную жизнь и которых нельзя нарушить, не создавая опасности для целого, пока это целое не выработало нового, более справедливого и естественного нравственного порядка; показано, что только там начинается наше истинное бытие, где двойственность духа и крови, побуждения и ответственности — преодоле-

вается и становится единством, где могучая судьба все сжигает в едином пламени. Только «в сплетении жесток, я чувствую, стихает наш разлад», ничто не имеет цены, пока мы бодрствуем и сопротивляемся, «в нас правды нет, пока мы правим сами»; и неудивительно, что как-раз Стефан Цвейг, в котором так сильно выражен этот дуализм, в творчестве находит освобождение от своих противоречий; не даром он всегда изображает бурю, срывающую покровы с души, молнию, превращающую в пламя все наше существо, и утоляющий трагизм того, что мы нашу истинную жизнь изживаем и можем изжить в несколько скупо отсчитанных часов, в один лишь день нашего земного века. (Это так прекрасно осуществлено в рассказе «Двадцать четыре часа из жизни женщины».) Но в то время как в «Амоке» все эти удары страсти и рока, с почти жутким однообразием, неустанно бичуя, властно и прямо гонят вперед, — у героев «Смятения чувств» озаряющая и сокрушающая молния идет удивительными изгибами; ими овладевает не слепая сила, неумолимо мчащая к единственной цели; их сущность преображается демонически неодолимыми соблазнами и сплетениями, которые одного обрекают неотвратимой судьбе, другого возносят к благоговению перед властью непостижимых, темных возможностей, к неосуждающему постижению. Одинокaя женщина, вдова и мать взрослых детей, независимая и ответственная ни перед кем, переживает день полнейшей растерянности, когда, спасая молодого игрока, доходит до поступков, для нее самой непостижимых, прекрасных и благороднейших; и долгие годы мучится этим великолепным безумием, потому что переживания той ночи осквернены; все было брошено в жертву недостойному, пустому, безвольному человеку, которого даже ее самоотверженный поступок не мог спасти; лишь

много лет спустя, когда она, наконец, может свободно высказаться и довериться чуткому человеку, она из искаженного воспоминания воссоздает истинное понимание этого правдиво прожитого дня («Двадцать четыре часа из жизни женщины»). Старик, который стал в тягость собственной семье, который мешает ей и терпит ею лишь потому, что добывает для нее деньги, — узнает, что его единственное любимое дитя, после однодневного знакомства, идет в постель к чужому человеку; он погибает, потому что у него нет больше сил сопротивляться; в своем ужасном одиночестве, всеми покинутый, он даже уже не возмущается всем тем эгоизмом и ложью, которыми он окружен; опустошенный, чудной и покинутый — он медленно умирает («Закат одного сердца»). Молодой, красивый, одаренный студент-филолог поддается влиянию одного из своих учителей, покоряется его загадочному обаянию; он чувствует тайну некоторых мгновений, то неудержимо манящих, то резко отталкивающих, чувствует тайну и в женитьбе профессора на мальчишески привлекательной, юношески задорной женщине и — после тревожно волнующего, непостижимого события, которое упрямого мальчика гонит в объятия матерински женственной, восставшей против своего одиночества молодой женщины — находит объяснение тайны в гомосексуальности любимого учителя, в его бегстве от своих желаний, в его совести, не допускающей нанесения нравственного ущерба и унижения любимому человеку; и они расстаются («Смятение чувств»). Таковы основные лица этих рассказов; но, пытаясь обрисовать контуры их переживаний, я снова чувствую бесплодность передачи содержания: не только потому, что в своей внутренней глубине, в воссоздании места действия и атмосферы решающего часа, в своем внешнем богатстве эти повести так разнообразны и блестящи, и попытка

оплести проволокой эти цветы может лишь привести к искажению; но здесь внешние события так сливаются с внутренними переживаниями, так тесно связаны с вещами и пейзажем (реальным и психическим), что они от них неотделимы. Как все это рассказано! Если бы Стефан Цвейг ничего не создал, кроме изображения рук, сжимающихся вокруг игорного стола в Монте-Карло, таких выразительных и полных страстной жизни, что по ним лучше можно разгадать их обладателя, чем по его лицу,—его и то можно было бы признать первоклассным мастером. И кто сумел щекотливые положения последней новеллы передать так бесконечно тонко, с таким чутким пониманием и в то же время так волнующе, тот занял место в первом ряду новеллистов нашего времени. Дыхание рассказчика стало спокойнее, ритм речи — еще гибче, эластичнее, крепче; меньше чувствуется напряжение речи, все сверкает жизнью, звучит искренне, как мучительно страстная музыка, каждое слово пылает; иные фразы выжигают в душе точно пламенное клеймо. Трудно решить, который из томов самый значительный, самый ценный, самый увлекательный. Но нетрудно установить, что от книги к книге художественное совершенство растет. Чувствуется неусыпное сознание ответственности, принуждающее поэта ко все более четкой работе, ибо ему известно, что к нему прислушиваются и ему верят многие. И чувствуется все большая зрелость испытанного сердца.

На ряду с этим большим циклом появились отдельные рассказы: среди них «Принуждение» — интересный психологический очерк, посвященный тайному могуществу «родины» и милитаризма, которое внутренне свободного человека, презирающего убийство, познавшего безумие войны и ушедшего от него, даже на чужбине угрожает поработить и склонить к бессмысленному исполнению

долга, признанного ложью и преступлением; лишь в последнюю минуту он приходит к познанию своего истинного «я» и своего долга по отношению к человечеству. Это великолепный эскиз, блестяще рассказанный,—малоденное никогда не выйдет из-под пера Стефана Цвейга,—но удивительно, до чего мало нас теперь занимают вопросы, которые всего десять лет тому назад были самыми жгучими и важными: рассказ нас не трогает. Но вряд ли это вина данной работы; дело скорее в нашем равнодушии к тому, что мы должны были бы особенно остро переживать и возврату чего мы должны были бы сопротивляться всеми силами нашей души, неистовствуя, заклиная, беспрестанно взывая и напоминая: к возможности войны.

Теперь ждет своего завершения особый ряд рассказов: несколько легенд, из которых одна, шаловливо-веселая, только-что набросана, другая недавно закончена: «Рахиль спорит с богом». Женщина, которая в час яростной и мучительной боли нашла в себе силу превозмочь самое себя, дерзостно ставит себя в пример медлящему и безмолвствующему, гневному богу и обращается к нему с потрясающим призывом о милости, и бог улыбается и прощает грешников ради Рахили. Но лучшая из легенд, быть может, лучшее из всего, что Стефан Цвейг до сих пор создал, это — «Глаза извечного брата», вышедшая отдельным изданием. Она повествует о Вирате, «которого народ славил четырьмя именами добродетели, но о котором ничего не сказано ни в летописях властителей, ни в книгах мудрецов. и память о котором исчезла». Она повествует о Вирате, чистейшем из людей, который был полководцем и бросил свой меч потому, что, убив мятежного брата, не хочет больше убивать, ибо в каждом человеке ему теперь видится брат; который, будучи судьей, приговаривает себя к каре, предназначавшейся преступнику, чтобы испытать на соб-

ственном теле, справедлив ли его приговор, — и слагает с себя судейский сан, ибо никто не в праве возносить себя и судить других, и уходит от людей, ибо видит, что даже в собственном доме не может ни детям, ни слугам воздать должное им, и в одиночестве, вдали от всякой суеты и греха, узнает, что своим примером принес несчастье, ибо и другие, соблазнившись и желая стать чистыми и служить богу, оставили дом и семью, которую они кормили, и обрекли нищете и смерти своих жен и детей. И он познает, что ни делание, ни неделание не уберегают от неправых дел, что в святом бездельи может заключаться вина: «семь крат виновен я, ибо я бежал от бога и отказался от служения жизни; я был негодным человеком, ибо питал лишь свою жизнь и никому другому не служил. Теперь хочу вновь начать служение». И так как всякое служение равно перед богом, он избирает самое низкое: он становится надсмотрщиком над собаками в царском дворце. И вот, этот прославленный и почитавшийся выше царя человек забыт и всеми оставлен; лишь собаки нежно любят его и, когда он умирает, воют целые дни напролет; а его, как слугу, закапывают в грязной яме, и никто не помнит больше имени того, «кого страна когда-то славилась четырьмя именами добродетели».

Это великолепно. Истинная мудрость. Хотя и опасная, и над которой никто из слабых не должен бы задумываться: ибо она ведет к квиетизму. Лишь тот, кто, подобно Стефану Цвейгу, познал, что эгоистическое существование глубоко бессмысленно и бесплодно, что имеет цену не то, что можно приобрести, а лишь то, что совершается во имя служения великому делу; что суд и осуждение — дерзость, что смертный приговор — преступление и что лишь понимание, прощение и жизнь с людьми в братской любви дают смысл земному существованию, — лишь тот мог пове-

дать эту изумительную легенду, как сущность своего бытия и призвания. Это лучезарнейший самоцвет в богатой цепи его созданий.

VIII

Я очень высоко ставлю беллетристические произведения Стефана Цвейга; великая любовь, душевная восприимчивость и сердечная теплота, которыми дышит каждое его слово, — покоряют, а блестящая образность, трепещущая жизненность, полнота охвата и переживаний, наполняющие каждую фразу до краев, — соединяются с такой пленительностью художественного рассказа, какую я нахожу лишь у очень немногих немецких прозаиков наших дней — лишь у Томаса Манна, Якоба Шаффнера, Артура Шницлера, Якоба Вассермана, но и между ними не все обладают тем обаянием страстного сердца, которым озарены новеллы Стефана Цвейга. И все же я полагаю, что его критические статьи значительнее; в них чувствуется более широкий кругозор, они более мощно содействуют возникновению европейской духовной общности.

Книги о Верхарне и Ромэне Роллане — первые вестники этой миссии. Это замечательный ключ к пониманию европейского духа и, прежде всего, к пониманию этих избранных, всеобъемлющих людей; это и биографии, и характеристики: изображенные поэтом, оба мастера стоят перед нами во весь рост, в непосредственной близости, живые до осязательности, и таким же перед нами стоит их творчество, освещенное, убедительное, часть их существа, и именно, как таковая, постигнутое и истолкованное до конца. Такой же дар любви принес Стефан Цвейг, в более коротких эскизах, целому ряду французских лириков: Артюру Рембо, Верлену, Бодлеру и, особенно, искренней, меланхолической поэтессе Марселине Даборд-Вальмор, чья траги-

ческая жизнь, чьи стихи и письма, говорящие о высочайшей женственности, с ее достоинством и способностью страдать, превратились в очерке Цвейга в новое, волнующе одухотворенное художественное произведение, в памятник любви, знаменем которой служат и все нарисованные им образы художников.

Но как ни была обширна эта самоотверженная работа, она заслоняется внушительным рядом критических произведений, который вырастает в основное дело его жизни; под общим заглавием «Строители мира» здесь должны быть даны портреты создателей духа всех наций, объединенные по типическим признакам. Два тома: «Три мастера», со статьями о Бальзаке, Диккенсе и Достоевском, и «Борьба с демоном» (Гельдерлин, Клейст и Ницше) — уже вышли; они рисуют великих эпических прозаиков и трагически истерзанных, слишком смело вознесшихся и, в конце-концов, погибших фантастов души и мысли. Третий том готовится; он объединяет самоанализирующих автобиографов — наивного, мыслящего и пророчествующего — Казанову, Стендаля и Толстого; предстоит закладка нового ряда, который — это надежда и вместе с тем почти требование к творческому изобразителю Стефану Цвейгу — должен бы быть завершен портретами великих собирателей, истинных, всеобъемлющих мастеров — Гете и Шекспира.

Но уже и теперь — это мощный труд, далекий от бесплодно регистрирующей, сухо научной истории литературы: это образы, воспринятые с изумительной силой вчувствования истинно любящим взором, исследующим тончайшие изменения излучений духа, и показанные во всей их жизненной полноте. Если в своих рассказах Стефан Цвейг изображал почти исключительно тот фантастически грандиозный миг, когда природа вскрывает все демоническое, что есть в каждом человеке, изображал падение

с искусственных подмостков нашего мещанского существования в кипящую пучину внезапной судьбы, то в своих критических статьях он воздвигает над этими подмостками величественный купол здания духа, в котором обитают творческие умы Европы. Но всякая схема, всякая формула — искажает, и едва ли можно провести границу между поэтическим и критическим творчеством Цвейга, хотя бы потому, что и то и другое — работа поэта, что он применяет равную силу воплощения, изображает ли живых или вымышленных людей, или же говорит о любимых мастерах и их произведениях. Тот, кто прочтет, потрясенный, с лихорадочным волнением, книгу «Борьба с демоном», почувствует и здесь тот же внезапный срыв из спокойной повседневности в бурную неизвестность, в потрясения и смертельные угрозы тех часов, когда, словно в зияющей бездне Инферно, сперва лишь в единичные мгновения и, наконец, в грозно бесповоротных перипетиях обнаруживается истинное назначение болезненно взвинченных натур Клейста, Гельдерлина и Ницше, их освобожденное воображение, их эпилептическая тоска. Но и в «Трех мастерах» видны те же твердые контуры, та же широкая, но выпрошенная в каждом отдельном штрихе линия характеров и та же необычайная страстность восприятия и воплощения, которые придают рассказам Цвейга их пластичность, их живость и нежный трепет пропитанной теплом атмосферы. Я знаю, что я часто, может быть, слишком часто употребляю слово «страстность»: но это слово дает ключ к существованию Стефана Цвейга, и, чтобы сказать о нем то, что надо, я не нахожу никаких других слов, кроме двух однозначных: энтузиазм и страстность. И в этих книгах, в которых показаны не будни и не внешняя жизнь великих людей, а их сокровенный мир, праздники их души, условия и кризисы их внутреннего бытия, властное воздей-

ствие их творений и личности, их роковое предназначение и их трагизм, прочувствованные и воплощенные с яркостью фильма и с нежностью лирических образов, — в этих книгах дышит страстность познания, любви и мысли, в них Стефан Цвейг тоже превращает в энтузиазм все то, что его коснулось жгучим прикосновением.

Никогда еще мрачная, сотканная из религиозной покорности и жажды преступления, жуткая гениальность Достоевского, его русская душа и враждебный Европе, но все же властный над нею дух, его необычайная судьба, судороги и катастрофы его творчества, его почти символическая, могуче возвышающаяся над повседневностью личность, ставшая образом великой тайны России, и его конец — не были так близко показаны не русским людям; никогда еще хаотическое творчество этого человека и все, что было в нем великого и жалкого, не было воплощено так жутко и великолепно, как в этой книге; она впервые открыла — немедкому пониманию — самого могущественного поэта России и снискала ему бурную любовь последнего поколения. Никогда еще истерзанность Клейста, трагедия его происхождения и призвания не стояли перед нами так драматически выпукло; никогда еще надменный полет к звездам и ужасное падение Ницше не были изображены с такой правдивостью и таким сочувствием; никогда еще идиллия Диккенса и его успехов не была так весело, уютно и живо превращена в комедию доведенного до гениальности мещанства (и вдобавок — английского!). Каждый из этих очерков — это часть человечества, выявленная с исключительным мастерством в своих соотношениях и в своей уязвимости. Так как в своем энтузиазме они чужды и скептицизма, и критической придирчивости, эти очерки — тоже поэмы, хоть и иные, чем те, что сотворены одной лишь фантазией. Они взяты из действитель-

ности, фантазия только пришла на помощь проницательному пониманию, и поэтому, а также и благодаря своему нервному, ритмически воодушевленному, выразительному стилю, уже редко впадающему в лирическую чрезмерность и преувеличение и большей частью замечательно ясному, сжато и глубоко музыкальному, — они, быть может, значительнее вымышленных. Они дают нам примеры людей, которые не только в мечтах и желаниях алчут любви, по которые действительно жили на земле и кровью и духом засвидетельствовали, какие возможности могут воплотиться наяву.

IX

Я еще раз перечел все эти книги, в том числе и собрание стихов Стефана Цвейга, которые своей твердой обложкой и пламенным ядром, парнасской холодностью внешней мелодии и горячим биением чувства напоминают картины, где рисунок Родэна соединился бы с красками Энгера, и которые так наглядно показывают нам противоречия его природы. Я перечел все эти книги и был захвачен их силой, был во власти этой несравненной энергии, так упорно и последовательно создававшей и жизнь и творчество. Я вновь с восхищением убедился в изумительной выдержке поэта, никогда не служившего выгоде, никогда не соблазнившегося заманчивыми предложениями, если работа не была ему по душе, интересовавшегося лишь избранными людьми и избранным творчеством, не поддававшегося ни корыстной жадности нашего времени, ни развращающему успеху и выявившего все свои возможности так полно и напряженно, что он с чистой совестью может сказать: «я не в долгу перед своим талантом». Потом я снова сидел перед ним, слушал его умную, мягко убеждающую, приветливую речь, и снова меня пора-

жал этот контраст между его внутренним пламенем, его стремительным, неустанным энтузиазмом и его умышленной скромностью, его учтивой, сдержанной фигурой, в которой лишь редко, за приятной благовоспитанностью, сквозит нетерпение и ненасытность жадно стремящейся вперед души. И я снова спрашивал себя, как это случилось, что этот австриец, этот изысканный патриций, ставший для Западной Европы такой крупной величиной, как раз на Востоке, в России, нашел столько любви и понимания.

Мне кажется, я нашел ответ: это потому, что он спускается в те глубины и взлетает на те высоты, где обитает истинно человеческое, торжествуя над преградами, которые ставятся различием языков. Потому, что энтузиазм и страстность, самозабвенная любовь, ненависть против всякого насилия, преданность всему высокому и низменному делают понятной речь говорящего, независимо от того, где он родился и на каком диалекте звучит его слово. Потому, что пред нами поэт, равнодушный к отжившим законам морали, принимающий все опасности жизни, признающий правоту каждого явления и провозглашающий в старом мире нелицемерное слово любви. Короче говоря: потому, что пред нами истинный человек, не литератор, жаждущий материала, успеха и сенсаций. Истинный человек, в каждом чужом взоре узнающий глаза извечного брата. И каждому близкий и дорогой, как брат.



31 января 1927 года

Эллен Кэй
сердечное воспоминание
о светлых осенних днях
в Баньи ди Лукка

О, детство, ты, о, тесная темница!
Как часто за решеткой я в окне
В слезах следил Неведомого птицу,
Златившуюся в синей вышине!

О, ночи нетерпения! В огне
Желаний ранних кровь уже томится...
Я рву засов, я бьюсь о край границы...
Вот ододел... и даль пахнула мне.
Едва взглянув, я выпрыгнул на волю.
Весь мир был мой! И в сотнях увлечений
Я жег себя, взлетая за рубеж.

Но все ж мне жаль прошедшего до боли.
О, сладость первых робких просветлений!
Вернуться к ним... Как был я чист и свеж!

Перевел *Н. Шувальский*

РАССКАЗ В СУМЕРКАХ

ПЕРЕВОД А. И. КАРТУЖАНСКОЙ

Что это? Неужели ветер снова нагнал дождь на город, что сразу стало так темно в нашей комнате? Нет, воздух серебристо-ясен и тих, как редко в эти летние дни; просто — уж вечер настал, а мы не заметили. Лишь окна мансард напротив улыбаются тихим блеском заката, а небо над гребнем крыш заволокло золотистой дымкой. Через час уже будет ночь. Дивный час! Нет ничего чудеснее этих красок, которые постепенно блекнут и затеняются, и тогда комнату затопляет мрак, который поднимается с пола, пока черные волны не разольются беззвучно по стенам и не окутают нас тьмой. Когда сидишь друг против друга и смотришь безмолвно, близкое лицо в тени начинает казаться более старым, чуждым и отдаленным, как будто никогда близко не знал его и теперь видишь его в дали, через пространство многих лет. Но ты говоришь, что не хочешь молчания, потому что слишком тягостно слышать, как часы разбивают время на тысячи мелких осколков, а дыхание в тишине становится громким, как дыхание больного. Я должен тебе что-нибудь рассказать? Охотно. Конечно, не о себе: наша жизнь в этих бесконечных городах бедна переживаниями, или это нам кажется так, потому что мы сами не уясняем себе, чем мы действительно обладаем. В этот час, который, собственно,

любит молчание, я хочу рассказать тебе кое-что, и мне хотелось бы, чтобы этот рассказ отразил в себе хоть сколько-нибудь теплый, мягкий свет сумерек, льющийся в наши окна.

Я не знаю, как дошел до меня этот рассказ. Я помню только, как я сидел здесь долго после обеда, читал книгу и уронил ее, забывшись не то в мечтах, не то в легкой дреме. И вдруг образы обступили меня, они скользили вдоль стен, и я мог слышать их слова и заглянуть в их жизнь. Но лишь только я захотел присмотреться к ускользающим видениям, я проснулся и был один. Оброненная книга лежала у моих ног. Я поднял книгу и искал в ней эти образы, но ничего не нашел. Как будто рассказ выпал из ее страниц в мои руки, или, может быть, его там никогда и не было. Быть может, он мне когда-нибудь снился, или я прочел его на одном из тех причудливых облаков, что примчались сегодня в наш город из далеких стран и разогнали дождь, так долго изводивший нас. А может быть, я слышал этот рассказ в звуках простодушной старинной песни, которую грустно наигрывала под моим окном шарманка, или кто-нибудь рассказал мне его в старые годы? Не знаю. Такие сказки часто посещают меня, и я, играя, даю свободно течь их событиям как бы сквозь пальцы, не задерживая их. Так ласкаешь мимоходом колосья и высокие стебли цветов, не срывая их. Эти сказки мне грезятся, начинаясь быстро-возникающими яркими образами и угасая к концу, но схватить их я не могу. Но ты все же хочешь рассказа сегодня, и я расскажу его тебе в этот сумеречный час, когда наши глаза, обедневшие и усталые от серого, тоскуют по яркому свету и движению.

Как мне начать? Я чувствую, что должен извлечь из тьмы мгновение, образ и лицо, как это всегда начинается

в моих удивительных снах. Ну вот, я уже вспоминаю. Я вижу стройного мальчика, спускающегося по широким ступеням замка. Стоит ночь, лишь тускло озаренная светом луны, но я схватываю, как в освещенном зеркале, каждый контур его гибкого тела, вижу ясно его черты. Он необыкновенно красив. По-детски зачесанные черные волосы падают прямо на высокий лоб, и руки, которые он простирает во тьме, чтобы ощутить теплоту воздуха, напоенного солнечным теплом, нежны и благородны. Его шаги замедляются. Задумчиво он спускается в большой, шелестящий ветвями парк, через который единственной белой полосой проходит широкое шоссе.

Я не знаю, когда все это случилось, — вчера или пятьдесят лет назад, — и не знаю, где, но думаю, что в Англии или Шотландии, так как только там я знаю такие высокие квадратные замки, которые издали грозят, как крепости, и лишь для дружеского взора приветливо снижаются, спускаясь к веселым садам, полным цветов. Да, теперь я знаю совершенно точно, что это произошло в горах, в Шотландии: только там летние ночи так светлы, что небо — молочное, как опал, поля никогда не темнеют, и все кажется излучающим внутренний свет. Одни тени, как черные гигантские птицы, спускаются на светлые долины. Это происходит в Шотландии, — теперь я это совершенно точно знаю, и если бы я дал себе труд, то нашел бы название этого графского замка и имя мальчика, так как темная кора быстро спадает с моего сна, и я вижу все так отчетливо, как будто это не воспоминание, а сама жизнь. Мальчик гостит летом у своей замужней сестры, и, по доброму обычаю английских дворянских семейств, он там не единственный гость. Вечером, за круглым столом, собирается целый круг товарищей по охоте, их жены, несколько молодых девушек, — все рослые, красивые люди,

молодой смех которых весело, но не шумно будит эхо старинных стен. Целый день взад и вперед скачут лошади, своры собак; на реке мелькают две-три лодки. Непрерывное движение, без деловых забот, сообщает дню приятный быстрый ритм.

Сейчас вечер, и стол опустел. Мужчины сидят в салоне, курят и играют. До полуночи через раскрытые окна льются в парк дрожащие полосы света, порою веселый, громкий смех. Дамы почти уже все разошлись по своим комнатам, кое-кто из них еще болтает, задержавшись в вестибюле. Мальчик в этот вечер совершенно один. К мужчинам он не смеет итти, разве только на одну минуту, а перед женщинами он испытывает робость, так как, стоит ему открыть дверь, они внезапно понижают голос, и он чувствует, что они говорят о вещах, которых ему не следует слышать. И вообще, он не любит их общества; они обращаются с ним, как с ребенком, снисходительно его слушают, пользуются им для тысячи мелких поручений и благодарят, как воспитанного мальчика. Он уже хотел отправиться спать и поднялся к себе по извилистой лестнице, но комната слишком нагрелась и наполнена спертой, неподвижной духотой. Днем забыли закрыть окна, и солнце дало себе волю: нажгло стол, накалило кровать, тяжело залегло на стенах и оставило свое удушливое дыхание во всех углах и на занавесках. И потом еще рано,— и снаружи летняя ночь светит, как белая свеча, так спокойно, безветрено, так безмятежно-тихо! Мальчик снова спускается с высокой лестницы замка — в сад, где над темной листвой небо матово светится, как нимб, и снизу, навстречу небу, волнуя, дрожит аромат тысячи невидимых цветов. У него странно на душе. Он не мог бы сказать почему, в смутном ощущении своих пятнадцати лет, но его губы дрожат, словно ему что-то

хочется сказать ночи, или поднять руки, или надолго закрыть глаза; словно существует какая-то тайна между ним и этой покоящейся летней ночью, требующая слов или знака приветия.

Медленно сворачивает мальчик с широкой открытой аллеей в боковую дорожку, где деревья своими посеребренными вершинами как будто обнимаются в высоте, а внизу под ними лежит тяжелая тьма. Кругом тишина. Но тишина, наполненная тем неопишуемым звучанием, как бывает в саду, напоминающим падение капель дождя на траву или шелест касающихся друг друга стеблей. Вся эта неуловимая музыка овевает идущего мальчика, который охвачен сладкой, необъяснимой тоской. Порой он слегка трогает дерево или останавливается, чтобы прислушаться к мимолетным звукам ночи. Шляпа давит ему лоб, и он снимает ее, чтобы подставить свои обнаженные виски, в которых стучит кровь, под дуновение сонного ветерка.

Вдруг, когда он глубже погружается в темноту, происходит нечто невероятное. Позади него раздается скрип щепня. Испуганно обернувшись, он видит мерцание высокой белой фигуры, идущей к нему, с ужасом чувствует себя в крепких объятиях женщины. Теплое, мягкое тело тесно прижимается к нему, дрожащая рука быстро проводит по его волосам и откидывает назад его голову. Шатаясь, он чувствует на своих устах, как раскрытый плод, чужие дрожащие губы, которые впиваются в них. Это лицо так близко к нему, что он не различает его черт. Он даже не решается всмотреться в них. Дрожь, словно боль, пронизывает его тело с такой силой, что он должен закрыть глаза и безвольно, как добыча, отдается этим пылающим губам. Нерешительно, неуверенно, как бы вопрошая, его руки схватывают это чужое тело, и, быстро опьяняясь, он прижимает его к себе. Жадно скользят его

руки по мягким линиям, задерживаются, — и снова, дрожа, скользят, становятся лихорадочнее и смелее. Все сильнее прижимаясь и наклоняясь над ним, это тело всей сладостной тяжестью давит на его уступающую грудь: он чувствует, что куда-то падает и уносится этим тяжело-дышащим напором, и колени его подкашиваются. Он не думает о том, как эта женщина пришла к нему, как ее имя, — он только жадно пьет, закрыв глаза, наслаждение с чужих влажных, душистых губ, пока не пьянеет и не отдается безвольно, безрассудно, яростной страсти. Ему кажется, что звезды внезапно падают с неба, — так сверкает у него в глазах, и все, к чему он ни прикасается, сыплет искры и жжет. Он не знает, как долго окован в этих мягких цепях, часы или мгновения, он только чувствует, что все загорелось диким желанием в этой сладострастной борьбе, завертелось, закружилось в чудесном вихре.

И вдруг, одним толчком порвалась жгучая цепь. Быстро, почти злобно, освобождает она его стесненную грудь. Неведомая фигура выпрямляется и уже убегает, светлая и быстрая, мелькая, как белое пятно, между деревьями, и исчезает раньше, чем он успевает протянуть руки, чтобы удержать ее.

Кто это был? И как долго это длилось? Подавленный, оглушенный, прислоняется он к дереву. Медленно приливает холодное сознание к лихорадочным вискам. Ему кажется, что его жизнь внезапно подвинулась на тысячу часов вперед. Неужели то, что в неясных мечтах он думал о женщинах и страсти, стало внезапно действительностью? Или это был сон? Он ощупывает себя, хватается за волосы. Да, они влажны на стучащих висках, влажны и прохладны от росистой травы, на которую они упали. Все вдруг снова проносится перед его взором, он чувствует, как горят его губы, вдыхает чужой, сладострастный аро-

мат, исходящий от его платья, хочет повторить каждое слово, но не может вспомнить ни одного.

И тут он вдруг с ужасом вспоминает, что она совсем не говорила, ни разу даже не назвала его по имени, что он знает только ее страстные вздохи, вскрики, судорожно задержанные стоны сладострастья, что он знает аромат ее разметавшихся волос, горячее прикосновение груди, гладкую эмаль кожи, что ему принадлежало ее тело, ее дыхание, весь ее судорожный порыв, но он и не подозревает, кто была эта женщина, настигшая его в темноте своей любовью. Он может только бормотать имена, чтобы назвать свое неожиданное счастье.

И вдруг, все то необычайное, что он неожиданно пережил с женщиной, кажется ему таким бедным и ничтожным, по сравнению с той сверкающей тайной, которая манящими глазами глядит на него из темноты. Кто была эта женщина? Быстро перебирает он в уме все возможности, охватывает образы всех женщин, живущих в замке; вспоминает каждый значительный час, каждый разговор, каждую улыбку тех пяти-шести женщин, которые могли быть замешаны в этой загадочной истории. Может быть, молодая графиня Э., которая иногда так сильно нападала на своего стареющего мужа, или молодая жена его дяди, у которой поразительно мягкие и все же дразнящие глаза. Или — но он пугается при одной мысли — это одна из трех сестер, его кузин, которые так похожи друг на друга своим высокомерным, гордым, строгим видом? Нет, это все холодные, рассудительные люди. Как часто за последние годы он считал себя отверженным, больным, с тех пор как в нем бушевали тайные желания, сжигая его во сне. Как он завидовал всем тем, которые были или казались такими спокойными, свободными от увлечений и желаний, как пугался он своей пробуждающейся страст-

ности, словно какого-то недуга. И что же? Но кто, кто среди всех этих женщин умеет так притворяться?

Этот неотступный вопрос постепенно успокаивает волнение его крови. Стало поздно, огни в зале погасли, он один бодрствует в замке, он — и, может быть, еще другая, незнакомка. Постепенно усталость овладевает им. Зачем еще раздумывать? Взглядом ли, блеском глаз, пожатием руки — чем-нибудь она себя завтра выдаст. Задумчиво, мечтательно поднимается он по лестнице, так же мечтательно, как спускался, и все же совсем иначе. Его кровь еще слегка взволнована, и нагретая комната кажется ему теперь свежее и прохладнее.

Когда он просыпается на следующее утро, внизу уже раздается нетерпеливый топот коней, слышатся смех, голоса, кто-то произносит его имя. Он быстро вскакивает, — час завтрака уже пропущен, — лихорадочно-быстро одевается и бежит вниз, где его весело приветствуют. «Соня!» — бросает ему навстречу графиня Э., и смех блестит в светлых глазах. Жадным взглядом впиивается он в ее лицо. Нет, нет, это не она, ее смех слишком беспечен. «Видели сладкие сны?», шутливо спрашивает молодая женщина, но слишком тонким кажется ему нежное тело. Быстро летит его вопрос от одного лица к другому, но ни на одном не находит ответной улыбки.

Они едут верхом в поле. Он прислушивается к каждому голосу, присматривается пытливо к каждой линии, каждой волне колеблющихся при езде женских тел, он наблюдает каждый поворот и то, как они поднимают руки. Во время завтрака, за столом, он наклоняется при разговоре, чтобы почувствовать аромат губ или запах волос, но ничто, ничто не дает ему знака, ни даже намека, который послужил бы нитью его разгоряченной мысли. День бесконечно тянется к вечеру. Он хочет заняться чтением,

но строки разбегаются через край страниц и вдруг уводят в сад, — и снова ночь, эта удивительная ночь, и снова он чувствует себя в объятиях незнакомки. Он выпускает книгу из дрожащих рук и идет к пруду. И внезапно видит, в испуге, что он на покрытой гравием дорожке, на том же самом месте. Вечером, за обедом, его лихорадит, его руки блуждают и беспрерывно двигаются, как будто гонимые кем-то, его глаза боязливо прячутся под веками. Когда все, наконец, — о, наконец-то! — поднимаются из-за стола, он счастлив, он быстро выбегает из комнаты в парк, ходит взад и вперед — по белой дорожке, которая блестит под его ногами, как молочный туман, — взад и вперед, взад и вперед сотни, тысячи раз. Горят ли уже свечи в зале? Да, свечи зажжены, наконец; виден свет в нескольких окнах первого этажа. Значит, дамы разошлись. Теперь только минуты остается ждать, пока она придет, но каждая минута разбухает и, кажется, готова лопнуть от жгучего нетерпения. И снова он мечется взад и вперед, как будто его дергают невидимые нити.

Вдруг белая тень промелькнула по лестнице, быстро, слишком быстро для того, чтобы ее разглядеть. Она кажется лунным лучом или развевающейся по ветру вуалью, затерявшейся меж деревьев. И вот он снова сжимает в своих объятиях, страстно, как когтями, это неистовое, разгоряченное быстрым бегом тело. Как и вчера, одно мгновение, — и горячая волна неожиданно ударяет в его грудь с такой силой, что он чуть не теряет сознания от ее страстного призыва только отдаться потоку темного наслаждения, раствориться в нем. Вдруг шум крови утихает, и он сдерживает свой пыл. Нет, только не цотеряться в этом упоительном сладострастии, не отдаться этим засасывающим губам, пока не узнаешь, какое имя носит это тело, которое прижимается так тесно, что

начинает казаться, будто это чужое сердце стучит в собственной груди! Он отстраняет голову от ее поцелуя, чтобы увидеть ее лицо, но тени падают в неясном свете и смешиваются с ее темными волосами. Слишком густа чаща деревьев, и слишком бледен свет подернутой облаком луны. Он видит только блестящие глаза, сверкающие камни, глубоко вкрапленные в белый мрамор лица.

Он хочет услышать хоть одно слово, хоть отрывочный звук ее голоса. «Кто ты, скажи мне, кто ты?», требует он. Но у этих мягких, влажных уст есть только поцелуи, но не слова. Он хочет вынудить слово, крик боли, он сжимает ей руку, впивается ногтями глубоко в тело. Напрасно, он чувствует только, как тяжело дышит ее напряженная грудь, как горячо ее дыхание и как жарки упрямые, немые губы, которые лишь издают тихие стоны не то боли, не то страсти. Его сводит с ума сознание, что он бессилен перед этой упрямой волей, что эта женщина из мрака берет его, не выдавая себя, что он имеет неограниченную власть над ее вожделеющим телом, но не над ее именем. Им овладевает гнев, и он противится ее объятиям, но она, чувствуя его усталость, угадывая его тревогу, старается его успокоить, гладит ласково и волнуяще его волосы. И пока он чувствует прикосновение ее трепетных пальцев, что-то слегка звенит об его лоб, что-то металлическое, медальон или монета, которая свисает с ее браслета. Внезапно его озаряет мысль. Как бы в порыве дикой страсти он прижимает ее руку к себе и глубоко вдавливая монету в свою полюбленную руку, пока она не впивается в кожу. Наконец, у него есть точный знак, и теперь, когда он огнем горит на его теле, можно свободно отдаться дотоле сдерживаемой страсти. Он крепко прижимается к ее телу, пьет сладострастие с ее губ, бросаясь в таинственное пламя этих безмолвных тисков.

И когда она, как и вчера, внезапно вскакивает и убе-
гает, он не старается удержать ее, так как в его крови
горит любопытство увидеть знак. Он бросается в свою
комнату, заставляет ярко разгореться огонь потухающей
лампы и жадно наклоняется над оттиском, который
монета оставила на его руке.

Оттиск уже не так ясен, полный кружок уже исчез,
но один конец еще глубоко, до-красна вдавлен и хорошо
виден. Монета, повидимому, с отточенными краями, восьми-
угольная, средней величины, приблизительно -с пенни,
но выпуклее, как видно из глубокой ямки на руке. Знак
горит, как огонь, пока он с жадностью рассматривает его.
Это место болит, точно рана. Тогда он опускает руку
в холодную воду, и жгучая боль проходит. Итак, медальон
восьмиугольный. Теперь он спокоен. Его взор горит тор-
жеством. Завтра он все узнает.

Утром он спускается к завтраку одним из первых. Из
дам на местах только его сестра, одна пожилая барышня
и графиня Э. Все они приодеты и беседуют, не обращая
на него внимания. Тем удобнее ему наблюдать. Быстро
он окидывает взглядом узкую руку графини; она не
носит браслета. Теперь он может спокойно с ней разгова-
ривать, но его нервный взгляд не отрывается от двери.
Три сестры, его кузины, появляются вместе. Его снова
охватывает беспокойство. Неясно различает он скрытые
под рукавами украшения на их руках, но сестры слишком
быстро садятся, как-раз напротив него: темно-русая Китти,
белокурая Марго и Елизавета, волосы которой так светлы,
что в темноте отливают серебром, а на солнце золотом.
Они, как всегда, холодны, тихи, неприступны, застыли
в своем достоинстве, что он больше всего ненавидит в них,
так как они немногим старше его и недавно еще были
товарищами его игр. Не хватает еще молодой жены его

дяди. Все тревожнее бьется у мальчика сердце, развязка приближается, и ему вдруг становится почти дорога загадочная мука этой тайны. Его взгляд жадно скользит по краю стола, где на белизне скатерти женские руки покоятся или блуждают, как корабли на светлой поверхности залива. Он видит лишь одни руки, и эти руки ему вдруг начинают казаться особыми существами, как фигуры на сцене, — каждая со своей особой жизнью и своей особой душой. Почему кровь так стучит в висках? Все три кузины, видит он с испугом, носят браслеты, и уверенность, что это может быть одна из этих высокомерных, внешне столь безупречных женщин, еще с детских лет упорно замкнутых в себе, — приводит его в смущение. Но которая из них? Китти, которую он знает меньше других, потому что она старшая, резкая Марго или маленькая Елизавета? Он даже не решается желать какую-либо из них. Втайне он желает, чтобы это не была ни одна из них или чтобы он не знал о том. Но желание уже увлекает его.

— Не будешь ли ты добра дать мне чашку чая, Китти?

Голос его звучит, как будто песок застрял у него в горле. Он протягивает чашку, теперь она должна поднять руку, протянуть ее через стол по направлению к нему. Он видит, — с ее браслета свисает медальон. Его рука цепенеет на мгновение, — но нет: это зеленый камень в круглой оправе, который с тихим звоном ударяет о фарфор. Его благодарный взгляд, как поцелуй, ласкает темные волосы Китти.

С минуту он переводит дух.

— Кусочек сахара, будь любезна, Марго.

Тонкая рука поднимается над столом, протягивается к серебряной сахарнице и передает ему. Рука его дрожит, и он видит, как там, где кисть скрывается в рукаве, с прекрасного

плетеного браслета спускается старая серебряная монета, спиленная восьмиугольником величиною с пенни; вероятно, наследственная вещица. Да, восьмиугольник, с острыми краями, — тот, что вчера горел на его теле. Его рука не перестает дрожать, дважды берется он за щипцы и лишь тогда опускает кусок сахара в свой чай, который так и забывает выпить.

Марго! Это имя, крик невероятного изумления, дрожит на его губах, но он стискивает зубы. Он слышит, как она разговаривает, и голос ее звучит для него так чуждо, как если бы кто-нибудь говорил с трибуны: холодный, рассудительный, слегка шутиливый, с таким ровным дыханием, что его почти охватывает ужас пред лицом ужасающей жи ее жизни. Неужели это действительно та женщина, чье горячее дыхание он пил вчера, чьи влажные губы прижимал, — губы, что бросились на него в ночи, как хищный зверь? Оцепенелый, продолжает он всматриваться в ее губы. Да, это упрямство, эта замкнутость, — только на этих острых губах могли они скрываться, но что значил тогда этот пыл?

Он глубже смотрит на ее лицо, как если бы видел ее впервые. И в первый раз чувствует он, торжествуя, дрожа от счастья и почти в слезах, как хороша она в своей гордости, как притягательна в своей таинственности. Его взгляд страстно отмечает круглую линию ее бровей, неожиданно ломающуюся под острым углом, погружается глубоко в сердолик серо-зеленых глаз, целует бледную, слегка просвечивающую кожу щек, смягчает для поделуя острую напряженность ее губ, блуждает по светлым волосам и, быстро опускаясь, охватывает сладострастно всю ее фигуру. Он не знал ее до этого мгновения. Он поднимается из-за стола, его колени дрожат. Он упоен ее образом, как крепким вином.

Внизу его сестра уже сзывает всех. Лошади готовы для утренней прогулки, нервно танцуют и нетерпеливо кусают удила. Быстро вскакивают все один за другим в седла, и пестрая кавалькада движется по широкой аллее сада. Сначала едут медленной рысью, ленивый ритм которой так не совпадает с бурным потоком его крови. Но за воротами отпускают поводья и мчатся, свернув с дороги, направо и налево по лугам, еще подернутым утренним туманом. Ночью, должно быть, пала сильная роса, потому что под стелющейся дымкой блестят беспокойные искорки, и в воздухе веет удивительная свежесть, точно от близкого водопада. Сомкнутая группа распадается, цепь всадников разрывается на красочные куски, некоторые всадники уже скрылись в лесу и за холмами.

Марго одна из первых впереди. Она любит дикий бег, страстный порыв ветра, который треплет ее волосы, неопишемое ощущение галопа и свиста в ушах. Следом за ней мчится мальчик. Он глядит на ее гордую, выпрямившуюся фигуру, красиво раскачивающуюся в диком беге, иногда видит ее лицо, покрытое легким румянцем, блеск ее глаз, — и в том, с какой страстью она отдается ощущению своей силы, он снова узнает ее. Он чувствует отчаянную вспышку страсти. Его охватывает непреодолимое желание овладеть ею немедленно, сорвать ее с лошади, и сжать в своих объятиях, снова пить ее неукротимые усталовить на своей груди неровные удары ее возбужденного сердца. Удар ноги, — и его лошадь, заржав, мчится вперед. Теперь он рядом с ней, его колени почти касаются ее, стремяна тихо звенят. Теперь он должен заговорить, он должен... «Марго», бормочет он. Она поворачивает голову, поднимает крутые брови. «В чем дело, Боб?» Холодно произносит она эти слова. Холодно и ясно смотрят ее глаза. Дрожь пронизывает его с головы до ног. Что он

хотел сказать? Он сам уже этого не знает. Он что-то бормочет о возвращении. «Ты устал?», спрашивает она слегка насмешливо, как ему кажется. «Нет, но другие так отстали», произносит он с трудом. Мальчик чувствует, что еще минута — и он сделает что-нибудь безумное: протянет к ней руки, или разрыдается, или ударит ее хлыстом, нервно дрожащим в его руке. Резко дергает он лошадь назад, так что она становится на дыбы. Марго мчится вперед, прямая, гордая, недоступная.

Скоро его нагоняют остальные. Вокруг, справа и слева, звучит веселая речь, но слова и смех воспринимаются им без смысла, как стук подков. Его мучит, что у него не хватило духу сказать ей о своей любви, добиться ее признания, — и желание сломить ее становится все более диким и, как багряное небо, расстилается перед ним над землей. Почему он не насмелся над ней, как она над ним своим упрямством? Ничего не сознавая, гонит он свою лошадь, и только в этом бешеном беге ему становится легче. Его окликают и зовут домой. Солнце перевалило через холм и стоит высоко на полдне. С полей тянет мягким, мглистым благовонием, краски стали ярче и горят, как расплавленное золото. Тяжелая духота нависает кругом. Вспотевшие лошади трусят ленивей, от них идет теплый пар, и они дышат тяжело. Медленно собирается снова кавалькада, настроение становится вялым, разговор иссякает.

Появляется Марго. Ее лошадь в мыле, белые хлопья пены дрожат на ее платье, и узел волос, слабо поддерживаемый гребнями, грозит рассыпаться. Мальчик, как очарованный, смотрит на эти белокурые косы, и мысль, что они внезапно могли бы расплестись и рассыпаться неистово развевающимися прядями, сводит его с ума от возбуждения. Уже вдали, в конце шоссе, виднеется свод садовых

ворот, а за ним широкая аллея к замку. Осторожно объезжает он остальных, вот он первый у крыльца, соскакивает, отдает подбежавшему слуге поводья и ждет кавалькаду. Марго одна из последних. Она медленно приближается, опустившись всем телом назад, словно в изнеможении страсти. Он чувствует, что такой она должна быть, когда утолила свое желание, такой она могла быть вчера и третьего дня. Это воспоминание снова приводит его в бешенство. Он бросается к ней; задыхаясь, помогает ей соскочить с лошади. Пока он держит стремя, он обнимает лихорадочной рукой ее нежную стопу. — Марго, — стонет он и шепчет тихо. Она не отвечает даже взглядом и спокойно берет, соскакивая, протянутую руку.

— Марго, как ты восхитительна! — лепечет он еще раз.

Она строго взглядывает на него и снова хмурит брови:

— Я думаю, ты пьян, Боб, что ты там болтаешь?»

Взбешенный ее притворством, слепой от страсти, он крепко прижимает к себе ее руку, как будто хочет просверлить ею свою грудь. Краснея от гнева, Марго дает сильный толчок, от которого он шатается, и быстро проходит мимо него. Так быстро, так судорожно быстро все это произошло, что никто ничего не заметил, и ему самому кажется, что это было страшным сном.

Весь день он так бледен, так возбужден, что белокурой графиня, проходя мимо него, гладит его по голове и спрашивает, что с ним. Он так раздражен, что ударом ноги гонит прочь собаку, выскочившую с лаем ему навстречу, он так неловок в игре, что девушки смеются над ним. Мысль, что сегодня вечером она уже не придет, отравляет его кровь, делает его злым и угрюмым. За чаем в саду они сидят вместе, — Марго против него, но она не смотрит в его сторону. Как будто притягиваемые магнитом, его глаза все поворачиваются к ней, но холодные,

как серый камень, ее глаза неподвижны и не отвечают ему. Его охватывает горечь при мысли, что она им так играет. Теперь, когда она от него резко отвернулась, его кулаки сжимаются, и он чувствует, что мог бы спокойно ударить ее.

— Что с тобой, Боб, ты так бледен?— вдруг слышит он голос. Это Елизавета, младшая сестра Марго. В ее глазах—теплый, мягкий свет, но он его не замечает. Он чувствует себя пойманным и говорит в бешенстве:

— Оставьте меня в покое с вашей проклятой заботливостью! И тотчас же кается в этом. Елизавета бледнеет, отворачивается и говорит со слезами в голосе:

— Ты более чем странен.

Все смотрят на него сердито, почти с угрозой, и он сам чувствует свою некорректность. Но раньше чем он успел извиниться, до него доносится через стол жесткий голос, острый и отточенный, как лезвие ножа, голос Марго:

— Вообще, я нахожу, что Боб для своих лет весьма невоспитан. Нельзя обращаться с ним, как с джентльменом или как со взрослым.

И это говорит Марго, та самая Марго, которая еще вчера ночью дарила ему свои губы! Он чувствует, как все вокруг него кружится, — туман застилает глаза. Гнев овладевает им.

— Ты должна это знать, именно ты!,— говорит он злым тоном и встает. Позади него падает кресло, опрокинутое быстрым движением, но он не оборачивается.

И все же вечером, как ни дико это кажется ему самому, он снова стоит внизу в саду и молит бога, чтобы она пришла. Может быть, и это все было игрой и упрямством. Нет, он не будет ни спрашивать, ни мучить, лишь бы она пришла, лишь бы он снова почувствовал на своих губах жестокое желание этих мягких, влажных уст, от которых замирают все вопросы. Часы как будто уснули. Как ленивый, усталый зверь, ночь разлеглась

перед замком. Безумно медленно тянется время. Легкое шуршание травы кажется ему насмехающимися голосами; издевающимися руками—сучья и ветви, которые легко покачиваются и играют своими тенями и слабым мерцанием света. Все шумы кажутся спутанными и чуждыми и колют больнее, чем тишина. Раз залаяла в деревне собака, мелькнула падающая звезда и упала где-то за замком. Ночь все светлеет, темнеют тени деревьев через дорогу, а тихие звуки становятся все более неясными. Плывающие по небу облака вдруг заволокли его мрачной тьмой. Болезненно отзывается одиночество в лихорадочном сердце.

Мальчик шагает взад и вперед. Все быстрее и порывистее. Несколько раз в гнев ударяет по дереву или стирает кору между пальцами с такой яростью, что из них сочится кровь. Нет, она не придет, он это знал и все же не хочет этому верить, потому что это значит, она не придет уже никогда, никогда. Он переживает самый горький момент своей жизни. Так страстно юны еще его чувства, что он резко бросается на влажный мох, впивается пальцами в землю, слезы текут по щекам, и он тихо, горько всхлипывает, как не плакал в детстве и не будет уже плакать никогда.

Легкий треск среди деревьев вдруг пробуждает его из отчаяния. Он вскакивает, тянется вперед слепыми, ошупывающими руками и—как чудесен этот быстрый, горячий удар об его грудь!—чувствует снова в своих руках тело, о котором он мечтал в исступлении. Рывание закипает в горле, все его существо растворяется в неслыханном пароксизме, и он сжимает стройное полное тело с такой силой, что с чуждых и немых уст срывается стон. И когда он чувствует, как она стонет от его силы, он впервые сознает, что он ее господин, а не жертва ее настро-

ния, как это было вчера, позавчера. Им овладевает желание мучить ее за те муки, которые он испытывал сотни часов, наказывать ее за упрямство, за презрительные слова сегодня вечером в присутствии других, за всю живую игру ее жизни. Его опаляющая любовь неразрывно переплетается с ненавистью, и объятия его похожи скорее на борьбу, чем на ласку. Он сжимает тонкие кости так, что все ее тяжело дышащее тело извивается, дрожа, и затем с такою силой притягивает к себе, что она не в состоянии пошевелиться, а только глухо стонет,—он сам не знает, от страсти или от боли. Но ни одного слова не может он вырвать у нее. Когда он вливается в ее губы, чтобы подавить этот глухой стон, он чувствует на них влажную теплоту, кровь, сочащуюся кровь,—так сильно закусил она зубами свои губы. И он продолжает мучить ее, пока не чувствует внезапно, что силы оставляют его, и горячая волна сладострастия поднимается в нем,—тогда они оба тяжело дышат, грудь с грудью. Ночь озаряется огнями, звезды мелькают в его глазах, все становится смутным, мысли путаются дико,—и над всем царит одно имя: Марго. Глухо, из самых глубин души, в пламенном порыве, вырывается у него, наконец, это слово,—все—торжество и отчаяние, страсть, ненависть, гнев и любовь одновременно, единственный крик, в котором сжалась мука трех дней:

— Марго!... Марго!

В этих двух слогах звучит для него вся музыка мира. Словно удар пробегает по ее телу. Сразу цепенеет иступленность объятий. Дико и резко отталкивает она его, рыдание сжимает ей горло, и снова огонь пробуждается в ее движениях, но лишь для того, чтобы вырваться и бежать, как от ненавистного прикосновения. В изумлении пытается он ее остановить, но она борется,—

и, склонясь к ее лицу, он видит, как слезы гнева дрожат на щеках и все ее гибкое тело извивается, как змея. Внезапно, резким толчком, она отбрасывает его от себя и исчезает. Белизна ее платья мелькает среди деревьев и утопает в темноте.

И снова он один, испуганный и потрясенный, как в первый раз, когда теплота и страсть с силой вырвались из его объятий. В его глазах мерцание звезд подернуто влагой, кровь приливает ко лбу с такой силой, что сыплются искры. Что с ним было? Он ощупью пробирается через расступающиеся стволы деревьев глубже в сад, где, он знает, бьет маленький фонтан, и погружает свои руки в ласковые струи его воды, белой, серебряной воды, которая тихо рокошет и чудесно блестит при свете луны, медленно выплывающей из облаков. По мере того как взоры мальчика проясняются, его охватывает странная жгучая печаль, как будто теплый ветерок принес ее с вершин деревьев. Горячие слезы закипают в его груди, и теперь, сильнее и яснее, чем в минуты судорожных объятий, чувствует он, как велика его любовь к Марго. Все, что было до сих пор, опьянение, трепет, судороги обладания, гнев перед недоступной тайной,—все ушло от него, он весь до сладострастной боли охвачен любовью, почти свободной от желания, но все же могучей.

Зачем он мучил ее? Разве не дала она ему в эти три ночи несказанно много, разве его жизнь не переступила внезапно из серых сумерек в полосу сверкающего и опасного света, с тех пор как она научила его нежности и безумному содроганию любви? И она ушла от него в слезах и в гневе! В нем зарождается непоборимая, кроткая жажда примирения, нежных, спокойных слов, желание безмятежно держать ее в объятиях и сказать, как полон он благодарности к ней. Да, он пойдет к ней,

смирненно, и скажет, как чисто любит он ее, что никогда больше он не назовет ее имени и не предложит запретных вопросов.

Серебром журчит вода, и он вспоминает о ее слезах. Теперь она, вероятно, одна в своей комнате, думает он, и только шепчущая ночь слышит ее, ночь, которая подслушивает всех, но не дает утешения никому. Сознание, что он одновременно и далек и близок к ней, что ему не дано видеть даже блеск ее волос, слышать тихий звук ее голоса и что они тем не менее неразрывно связаны, вызывает в нем невыносимую боль. И желание быть близко к ней становится непреодолимым,—пусть даже ему придется лежать, как псу, у ее дверей или стоять, как нищему, под ее окном.

Когда он робко выходит из чащи деревьев, он видит, что в ее окне в первом этаже еще горит свет. Это тусклый свет, и его желтое мерцание едва окрашивает листья большого клена, ветви которого, словно руки, то протягиваются и постукивают в окно, то откидываются назад от легкого ветерка, а сам клен кажется темным исполинским соглядатаем у маленького светлого окна. Мысль, что Марго бодрствует за этим освещенным стеклом, что она, может быть, еще плачет и думает о нем, так волнует мальчика, что он должен прислониться к дереву, чтобы не лишиться чувств.

Как зачарованный, он не отрывает глаз. В темноте видно, как белые гардины шевелятся, беспокойно играя от дуновения воздуха, то отливают темным золотом от желтого света лампы, то серебрятся, попадая в полосу лунного света, проникающего сквозь круглые листья. И открытое внутрь стекло отражает эту игру теней и света, точно кружево световых отражений. Дрожащему, как в лихорадке, мальчику, который горящими глазами

смотрит из темноты на освещенное окно, кажется, что все происшедшее темными рунами записано на светлой доске. Игра теней, серебристый блеск, окутывающий нежной дымкой светлую поверхность, все эти беглые ощущения вырастают в его воображении в потрясающие образы. Он видит, как она, Марго, стройная и прекрасная, с распущенными волосами, — о, эти безумные белокурые волосы! — с таким же волнением в крови, как у него самого, ходит взад и вперед по комнате, дрожит от охватившей ее страсти, рыдает от гнева. Точно сквозь стекло, видит он сквозь высокие стены каждое ее движение, видит, как она поднимает руки, как бросается в кресло и немymi, полными отчаяния глазами всматривается в белое, звездное небо. Ему даже кажется, когда окно на момент светлеет, что он узнает ее лицо; он видит, как она трепетно наклоняется, чтобы посмотреть, нет ли его в дремлющем парке. Его охватывает дикое желание, и он сдержанно, но призывно кричит ее имя: «Марго!.. Марго!»

Не промелькнула ли легкая белая тень, точно вуаль, за освещенной поверхностью? Ему кажется, что он это ясно видел. Он прислушивается, но ничто не шелохнется. Сзади слышно легкое дыхание погруженных в сон деревьев и шелковый шелест травы от тихого ветра, — теплая волна, которая набегает и замирает вдали. Спокойно дышит ночь, и немым смотрит окно, как серебряная рама вокруг потемневшей картины. Или она его слышала? Или она не хочет больше его слышать?

Этот колеблющийся свет вокруг окна сбивает его с толку. Сердце колотится о грудь, прижавшуюся к дереву, и кажется, что кора дрожит от его дикой страсти. Он знает только одно, что он должен сейчас же увидеть ее, и говорить с ней, и звать ее так громко, чтобы люди все бежали, разбуженные со сна. Он чувствует, что-то

должно теперь произойти, самое безумное кажется ему желанным, — как во сне, все легко и достижимо. Когда его взгляд еще раз устремляется вверх, к окну, он вдруг замечает вытянутый сук склоненного дерева, словно указатель пути, — и рука его уже обхватывает ствол. Неожиданно для него все становится ясным: он должен взобраться наверх — ствол широкий, но мягкий и гибкий — и сверху закричать: оттуда только шаг до ее окна. Там, вблизи от нее, он поговорит с ней и не спустится вниз, пока она не простит ему. Он не раздумывает ни минуты, чувствуя только манящий свет в окне и кражистое дерево, готовое держать его, рядом с собой. Несколько быстрых обхватов, движение вверх, — и уже руки его хватаются за сук и энергично тянут за собой все тело. Вот уж он висит на самом верху, а под ним странно качается листва. Каждый листочек шумит от легкой дрожи, и теснее перегибается протянутый сук к окну, словно хочет предупредить ее, ничего не подозревающую. Мальчик видит уже белый потолок комнаты и, посередине него, золотой круг от лампы. Он дрожит от волнения, зная, что в следующее мгновение увидит ее плачущей или тихо рыдающей, быть может, обнажающей желанное тело. Его руки слабеют, но он крепче сжимает их. Медленно скользит он по суку, наклоненному к ее окну, колени его слегка окровавлены, руки ошарапаны, но он ползет все дальше и уже почти озарен светом, падающим из окна. Большая ветвь еще заслоняет от его глаз видение, к которому он так страстно стремится. Когда он поднимает руку, чтобы отвести ее, и луч света уже падает на него, когда он, дрожа, наклоняется, — его тело вдруг начинает скользить, он теряет равновесие и, кружась, падает вниз.

Раздается глухой, легкий удар о дерн, как от падения тяжелого плода. Сверху наклоняется, беспокойно всматри-

ваясь, фигура из окна, но темнота недвижна и спокойна, как поверхность пруда, поглотившего утопленника. Свет наверху гаснет, и снова сад погружается в прозрачный, неверный полусвет над молчаливой тенью.

Через несколько минут упавший приходит в себя. Его взгляд удивленно обращен вверх, откуда на него глядит бледное, холодное небо с несколькими блуждающими звездочками. Вдруг он чувствует внезапную острую боль в правой ноге, боль, заставляющую его вскрикнуть при первом легком движении. Он сразу понимает, что с ним случилось. Он знает также, что не должен оставаться под окном Марго, не должен просить о помощи, ни звать, ни делать громких движений. Со лба течет кровь, он, верно, ушибся, падая, о камень или о кусок дерева; он стирает кровь рукой, лишь бы она не текла на глаза. Он пробует, налегая на левый бок и врываясь руками в землю, медленно подвигаться вперед. Каждый раз, когда он задевает сломанную ногу или трясет ее, он испытывает такую боль, что боится снова потерять сознание, но медленно ползет дальше. Почти полчаса проходит, пока он дополз до лестницы. Руки его немеют, холодный пот покрывает лоб и смешивается с капающей, липкой кровью. Надо преодолеть последнее, самое трудное, — лестницу. Он поднимается по ней медленно, с невероятными страданиями. Когда он уже наверху ухватывается дрожащими руками за перила, у него спирает дыхание. Он тащится еще несколько шагов до двери салона, откуда слышны голоса и виден свет. Он дергает за ручку, дверь подается, и неожиданно, как брошенный камень, он вваливается в освещенную комнату.

Его вид, должно быть, ужасен, кровь льется по лицу, вымазанному землей, когда он падает, как ком, на пол, потому что мужчины быстро вскакивают, стулья гремят, все бросаются ему на помощь. Его переносят осторожно на

диван. Он еще лепечет что-то о том, что упал с лестницы, когда хотел выйти в парк, но вдруг темная пелена застилает его глаза, он теряет сознание и больше ничего не помнит.

Седлают лошадь и посылают в ближайшее местечко за доктором. Как призрак, оживает перепуганный замок. В коридорах дрожат, будто светлячки, зажженные огни, голоса шепчут и спрашивают из приоткрытых дверей, слуги прибегают, перепуганные и заспанные, и, наконец, уносят мальчика без чувств в его комнату.

Врач констатирует перелом ноги и успокаивает всех, что нет никакой опасности. Но пострадавший должен долгое время лежать неподвижно, с повязкой. Когда это объявляют мальчику, он слабо улыбается. Невелика беда! Ведь так приятно лежать долго одному, без шума и людей, в высокой, светлой комнате, куда заглядывают ветви деревьев, когда хочется мечтать о той, кого любишь. Так сладко на покое снова обо всем передумать, мечтать о своей единственной, быть свободным от всех обязанностей, наедине с образами, созданными мечтой, которые обступают тебя со всех сторон, лишь только на момент закроешь глаза. Любовь не знает, быть может, мгновений чудеснее, чем эти бледные, сумеречные сны.

В первые дни боль еще очень сильна. Но к ней примешивается своеобразное наслаждение. Мысль, что он претерпевает боль из-за Марго, из-за возлюбленной, наполняет мальчика огромным, романическим чувством удовлетворения. Ему кажется, что он согласился бы иметь кровавый рубец через все лицо, чтобы носить его постоянно и открыто, как носит рыцарь цвета своей дамы, или еще было бы прекрасно не проснуться вовсе и остаться разбитым под ее окном. Он уже мечтает, как она утром просыпается от голосов, которые шумят и перекликаются

под ее окном, как она из любопытства выглядывает и видит его разбитым под ее окном, погибшим ради нее. И он видит, как она падает, испуская крик. Этот пронзительный крик звенит в его ушах, он видит ее отчаяние, ее скорбь. Он видит, как она, в течение всей своей разбитой жизни, не снимает черного платья, всегда в глубокой печали, и губы ее дрожат, когда люди спрашивают о ее горе.

Так мечтает он целыми днями, сперва в темноте, а потом с открытыми глазами, не расставаясь с блаженными воспоминаниями о дорогом образе. Ни яркий свет, ни громкий шум не могут помешать тому, чтобы образ ее, скользя по стенам, как легкая тень, приблизился к нему или чтобы голос ее почудился ему в каплях, стекающих с листвы, в скрипе песка под ярким солнцем. Часами беседует он так с Марго или воображает себя вместе с ней в поездках, в удивительных путешествиях. Временами он пробуждается, как помешанный, от этих слов: будет ли она действительно о нем горевать? Будет ли она, вообще, помнить о нем?

Она, конечно, иногда навещает больного. Часто, когда он мысленно беседует с ней и видит перед собой ее светлый образ, дверь открывается, и она входит, высокая и красивая, но такая непохожая на образ, созданный им. Она не ласковая, не нагибается взволнованно, чтобы поцеловать его лоб, как это делает Марго его снов, она только присядет около его кресла, спросит, как он себя чувствует, не больно ли ему, расскажет ему какие-нибудь пустяки. Он всегда так сладко испуган и смущен ее присутствием, что не смеет взглянуть на нее; часто он смежает веки, чтобы лучше слышать ее голос, чтобы глубже впитать в себя звуки ее слов, ту своеобразную музыку, которая после часами витает вокруг него. Он отвечает ей

медленно, так как слишком любит молчание, когда он слышит только ее дыхание и глубже чувствует, что он один с ней в комнате, во вселенной. И когда она встает и идет к двери, он тянется, не обращая внимания на боль, чтобы еще раз зарисовать все линии ее тела, еще раз обнять ее, живой, прежде чем она снова погрузится в смутный мир его мечтаний.

Марго навещает его почти каждый день. Но разве не навещают его и Китти, и Елизавета, маленькая Елизавета, которая смотрит на него всегда так испуганно и кротким озабоченным голосом спрашивает, не лучше ли ему? Разве не заглядывают к нему ежедневно его сестра и другие дамы, разве все они не одинаково сердечно к нему относятся? Все они сидят у него, рассказывая всякие истории. Они даже засиживаются слишком долго, и их присутствие разгоняет его мечтательное настроение, будит его сознание, погруженное в сон, и отвлекает его мысль к безразличным разговорам и глупым фразам. Он хотел бы, чтобы никто не приходил к нему, одна лишь Марго, на один только час, даже на несколько минут, а там пусть он останется один, чтобы мечтать о ней без помехи, спокойно, радостно, точно уносясь на легких волнах, со взглядом, обращенным внутрь себя, на милые образы своей любви.

Часто поэтому, когда он слышит, что чья-нибудь рука берется за ручку двери, он закрывает глаза и притворяется спящим. Тогда посетители на дыпочках удаляются; он слышит, как медленно закрывается дверь, и знает, что снова можно отдаться сладкому течению своих грез, нежно уносящих его к пленительным далям.

Однажды произошло вот что: Марго заходила к нему в тот день ненадолго, но принесла ему в своих волосах весь аромат сада, одуряющий запах цветущего жасмина и блеск августовского солнца в своих глазах. Он знал,

что сегодня она уже больше не придет. Весь долгий, светлый день он проведет в сладких грезах, потому что никто не придет ему мешать: все уехали верхом. И когда дверь вдруг робко шевельнулась, он закрывает глаза и притворяется спящим. Но вошедшая — он ясно слышит это в тишине — не уходит, но бесшумно прикрывает дверь, чтобы не разбудить его. Осторожно, едва касаясь пола, она приближается к нему. Он слышит, как слегка шуршит платье, когда она присаживается возле его ложа. И сквозь закрытые веки он чувствует, каким горячим взглядом окидывает она его лицо.

Его сердце беспокойно бьется. Неужели это Марго? Да, это она, он это чувствует. Какое сладостное, волнующее, тайное наслаждение — не открывать глаз и чувствовать ее близость! Что она будет делать? Секунды кажутся ему вечностью. Она не отрывает от него глаз, прислушивается к его дыханию. словно электрический ток проходит через все его поры от жуткого и опьяняющего ощущения — отдаваться так беззащитно, вслепую, ее взорам, и знать, что, если он откроет глаза, то их взгляд окутает, как плащом, своей нежностью испуганное лицо Марго. Но он не двигается, задерживает дыхание, которое толчками вырывается из стесненной груди, и ждет, ждет...

Но ничего не происходит. Ему только кажется, что она склонилась над ним и что он ощущает совсем близко у своего лица влажный, нежный, как запах сирени, хорошо ему знакомый аромат ее губ. Она кладет руку на его кровать, и горячей волной кровь разливается по его телу. Поверх одеяла она ласкает его руку, спокойно и нежно гладит ее. Магнетически чувствует он ее ласку, и кровь то приливает, то отливает в такт. Восхитительно ощущение этой нежности, опьяняющей и волнующей.

Медленно, почти ритмически, продолжает ее рука гладить его. Шурясь, он потихоньку приоткрывает веки. Сперва у него перед глазами только красные круги, облако беспокойного света, затем он различает усеянное темными крапинками одеяло, которым он накрыт, а вот и как будто издалека приближающаяся поглаживающая рука. Он смутно различает во мраке узкую белую полосу, которая то появляется, как светлое облачко, то снова исчезает. Он все расширяет глазную щель. Теперь он уже различает ясно пальцы, белые, блестящие, как фарфор. Мягко выгибаясь, двигаются они взад и вперед, как будто играя, но полные внутренней жизнью. Как щупальцы, они вытягиваются вперед и уходят назад, и в этот момент он ощущает ее руку, как нечто живое и самостоятельное, словно кошку, которая прижалась к платью, маленькую белую кошечку, которая спрятала когти и нежно мурлыкает, прижимаясь. Он несколько не удивился бы, если бы глаза кошечки вдруг засверкали. И в самом деле, разве эти белые касания не кажутся сверкающим взглядом? Нет, это только блеск металла, сияние золота. Но теперь, когда рука продвигается, он ясно различает медальон, свисающий с браслета, таинственный, предательский медальон, восьмиугольный, величиной с пенни. Это рука Марго нежно его ласкает; и в нем загорается желание прильнуть губами к этой нежной, белой, обнаженной, без колец, руке. Вдруг он чувствует ее дыхание, чувствует, что она приближает к нему свое лицо, и он не может дольше сжимать своих век: счастливый, сияющий, раскрывает он глаза на склоненное к нему лицо, которое вспыхивает и испуганно откидывается назад. И когда тень наклоненного лица исчезает и проявляются взволнованные черты, он узнает — словно удар пронизывает его члены — Елизавету, сестру Марго, юную, странную Елизавету. Не сон ли это? Нет,

он смотрит на залитое яркой краской лицо, боязливо отводящее глаза. Сомнений нет, это — Елизавета. Сразу ужасная ошибка становится ему ясна, взгляд его жадно всматривается в ее руку: да, на ней медальон.

Круги идут у него перед глазами. Как и тогда, он чувствует, что падает в обморок, но он стискивает зубы, он не хочет потерять сознания. Как молния, все пронесется перед ним, сжавшись в пределы одной секунды: и удивление и высокомерие Марго, улыбка Елизаветы, ее странный взгляд, касавшийся его, как молчаливая рука, — нет, нет, ошибка невозможна.

В нем вспыхивает последняя, смутная надежда. Он смотрит на медальон: может быть, Марго подарила ей его сегодня, или вчера, или в тот день.

Елизавета уже заговаривает с ним. Эта лихорадочная мысль, должно быть, так исказила его черты, что она с тревогой спрашивает:

— Тебе очень больно?

«Как похожи их голоса», думает он и отвечает машинально: — Да, да... то-есть нет... мне совсем хорошо.

Снова молчание. Как горячая волна, возвращается к нему мысль. Может быть, Марго ей это только подарила? Он знает, что это неправдоподобно, но должен спросить ее.

— Что это у тебя за медальон?

— О, это монета какой-то американской республики, я даже не знаю какой. Дядя Роберт как-то привез нам.

— Нам?

Он задерживает дыхание. Сейчас она должна сказать.

— Мне и Марго. Китти она не нравилась. Не знаю, почему.

Он чувствует, как влага застилает его глаза. Предусмотрительно кладет он голову набок, чтобы Елизавета не заметила слез, которые, он чувствует, дрожат на его ресницах. Он не может их остановить, и вот уже медленно

они катятся по щеке. Он бы сказал что-нибудь, но боится, что голос дрогнет под напором рыданий. Оба молчат, тревожно следя друг за другом. Тогда Елизавета поднимается.

— Я уйду, Боб. Поправляйся скорее.

Он закрывает глаза, и дверь тихо скрипит.

Как испугнутая стая голубей мечутся его мысли. Только теперь он понимает весь ужас недоразумения. Стыд и досада за собственную глупость охватывают его, но в то же время и безумная боль. Он знает, что Марго для него потеряна навеки, но чувствует, что любит ее неизменно, теперь, быть может, еще сильнее, с безнадежной тоской о недостижимом. А Елизавета, — он точно с гневом отталкивает от себя ее образ: ведь ее преданность и подавленный теперь огонь ее страсти не могут ему дать столько, сколько одна улыбка или прикосновение руки Марго. Покажись ему тогда Елизавета, он полюбил бы ее. Тогда он был еще ребенком в своих желаниях, но теперь в тысячах грез имя Марго прожгло его душу, и он не в силах удалить его из своей жизни.

Он чувствует, что у него темнеет в глазах, и неотступная дума постепенно изливается в слезах. Напрасно, как в первые дни своей болезни, силится он в долгие одинокие часы вызвать образ Марго: словно тень, на этот образ надвигается Елизавета со своими полными страсти глазами, и тогда все путается, и он должен мучительно обдумывать, как все это произошло с самого начала. Его охватывает стыд, когда он думает о том, как он стоял под окном Марго и звал ее, и жалость к тихой белокурой Елизавете, для которой у него не нашлось ни слова, ни взгляда за все эти дни, когда его благодарность к ней должна была бы разгореться ярким огнем.

На следующее утро Марго входит к нему ненадолго. Его охватывает дрожь от ее близости, и он не смеет

взглянуть ей в глаза. Что она ему говорит? Он едва слышит ее, дикое жужжание в висках громче ее голоса. Лишь тогда, когда она от него уходит, он снова охватывает жадным взором весь ее образ. Он чувствует: сильнее он ее никогда не любил.

После обеда приходит Елизавета. В ее руках, когда она иногда погладит его, чувствуется какая-то интимность, а ее голос тих, слегка приглушен. Она говорит с какой-то робостью о безразличных вещах, как будто боится выдать себя, говоря о себе или о нем. Он сам не знает хорошенько, что чувствует к ней. Иногда жалость, а иногда признательность за ее любовь; но сказать ей ничего не может. Он едва решается на нее смотреть, из боязни солгать ей.

Каждый день теперь она приходит и остается подолгу. Кажется, что с того часа, как меж ними возникла тайна, неуверенность исчезла. Но они не решаются никогда говорить о тех часах, в темноте парка.

Однажды Елизавета сидит около его кровати. На дворе яркое солнце, зеленое отражение от качающихся верхушек дрожит на стенах. Ее волосы в такие минуты кажутся огненными, как горящие облака, ее кожа бледна и прозрачна, все ее тело кажется просвечивающим и легким. С подушки, на которую падает тень, он видит вблизи себя ее улыбающееся лицо, но оно кажется ему таким далеким, потому что озаряется светом, который до него не доходит. И когда она к нему наклоняется так, что глаза кажутся более глубокими и убегают внутрь, как темные спирали, когда она нагибается, его рука охватывает ее тело, наклоняет к себе ее голову и целует ее в тонкие, влажные губы. Она сильно дрожит, но не сопротивляется и только печально гладит рукой его волосы. И говорит потом с глубоким вздохом и нежной грустью в голосе:

— Ты любишь ведь только Марго.

До самого его сердца доходит это самоотречение, это тихое, бессильное отчаяние, но до глубины души — это имя, которое его потрясает. Он не решается лгать в этот момент. Он молчит.

Она еще раз тихонько целует его в губы, почти как сестра, и, не сказав ни слова, уходит.

Это был единственный раз, когда они говорили об этом. Через несколько дней выздоравливающего выводят в сад, где уже первые желтые листья гонятся по дорожке друг за другом и рано наступающий вечер навевает осеннюю грусть. Еще несколько дней, и он уже с трудом двигается один и в последний раз в этом году прогуливается под сенью сплетающихся деревьев, которые громче, угрюмее шумят теперь, качаемые ветром, чем тогда, в эти три теплые летние ночи. Тоскуя, мальчик идет туда, на то место. Ему кажется, что тут воздвигнута невидимая темная стена, за которой лежит, канув во тьму, его детство, а впереди перед ним расстилается новый мир — опасный и чужой.

Вечером он прощается со всеми, еще раз пристально всматривается в лицо Марго, чтобы запомнить его на всю жизнь, с тревогой подает руку Елизавете, которая тепло и крепко сжимает ее, едва бросает взгляд на Китти, на друзей, на свою сестру, — так переполнена его душа ощущением, что он любит одну, а его любит другая. Он очень бледен, и на лице какая-то новая, резкая черта, которая делает его уже непохожим на ребенка. Впервые он выглядит мужчиной.

И все же, когда лошади трогаются и он видит, как Марго равнодушно повернулась, чтобы подняться по лестнице, и как на глазах Елизаветы вдруг появляется влажный блеск и она задерживается у перил, он так глубоко и полно чувствует все пережитое, что, как ребенок, неудержимо отдается слезам.

Все удаляется замок, все меньше, в облаках пыли, поднимаемой экипажем, кажется парк, все дальше уходит ландшафт, и вот все пережитое уже позади, и остается только гнетущее воспоминание. Через два часа езды он на ближайшей станции, а на следующее утро в Лондоне.

Проходит несколько лет, и он уже больше не мальчик. Но первое переживание слишком живо в нем, чтобы могло когда-либо изгладиться. Марго и Елизавета обе вышли замуж, но он не хочет никогда встречаться с ними, так как воспоминания о тех часах временами обступают его с такой непреодолимой силой, что вся последующая жизнь кажется ему только сном и призраком, по сравнению с действительностью этого воспоминания. Он стал одним из тех людей, для которых уже закрыты пути к любви и к женщине. Испытав некогда в такой полноте оба ощущения — любить и быть любимым, — он не станет больше искать с тоскою того, что уже однажды попало в его дрожание, робкие руки. Он путешествовал по многим странам, — один из тех корректных, тихих англичан, которых многие считают бесчувственными, потому что они так молчаливы и взгляд их так равнодушно скользит по женским лицам и их улыбкам. Кто же подумает о том, что образы, к которым вечно прикован их взор, они носят внутри, в своей крови, образы, которые всегда горят перед ними, как неугасимая лампада перед ликом мадонны?

А теперь я уж знаю, откуда явился этот рассказ. В книге, которую я читал сегодня после обеда, лежала открытка, присланная мне другом из Канады. Это молодой англичанин, с которым я познакомился во время путешествия. Часто, долгими вечерами, беседовал я с ним, и в речах его таинственно, как отдаленные статуи, иногда оживали воспоминания о двух женщинах, которые навсегда связаны с одним моментом его юности. Давно, очень

давно беседовал я с ним, и забыл уже все прежние наши беседы. Но сегодня я получил открытку, в памяти снова ожили эти воспоминания, смешавшись с разными личными переживаниями, и мне казалось, что я прочел его историю в той книге, которая выскользнула у меня из рук, или же — что она приснилась мне...

Но как темно стало в комнате, и какой далекой кажешься ты мне в этом глубоком мраке! Я вижу только нежное, светлое мерцание там, где чувствую твое лицо, и я не знаю, улыбаешься ли ты, или грустишь. Улыбаешься ли тому, что я изобретаю странные истории из жизни людей, которых я едва знаю, вижу в мечтах целую судьбу, которую спокойно возвращаю потом в их жизнь, в их мир? Грустишь ли ты о мальчике, который прошел мимо любви и в один час потерял навеки обетованную землю этого сладкого сна? Видишь ли, я не хотел, чтобы этот рассказ был печален и мрачен, я хотел только рассказать тебе о мальчике, которого внезапно настигла любовь, его собственная и чужая любовь. Но истории, которые рассказываются по вечерам, всегда сворачивают на легкую тропу печали. Сумерки опускают свой покров над ними, печаль вечера раскидывается над ними беззвездным небом, мрак просачивается в их кровь, и все светлые и яркие слова звучат в них так гулко и тяжело, словно исходят из самой глубины нашей жизни.

ГУВЕРНАНТКА

ПЕРЕВОД П. С. ВЕРНШТЕЙН

Дети одни в своей комнате. Свет погашен. Их разделяет темнота, только от кроватей падает слабый белый свет. Почти не слышно их дыхания; можно подумать, что они уснули.

— Послушай, — раздается голос двенадцатилетней девочки; тихо, почти робко, она шлет призыв во мрак.

— Что тебе? — отвечает со своей постели сестра. Она всего годом старше.

— Ты еще не спишь? Это хорошо. Я... мне хочется что-то рассказать тебе.

Молчание. Слышен лишь шорох в кровати. Сестра поднялась, она выжидающе смотрит; можно различить, как блестят ее глаза.

— Знаешь... я хотела сказать тебе... Но раньше скажи ты мне: ты ничего не замечала в нашей фрейлейн за последние дни?

Другая медлит в раздумьи.

— Да, — говорит она, — но я не знаю, в чем дело. Она не так строга. Недавно я два дня под ряд не приготовила урока, и она мне ничего не сказала. И потом она какая-то... не знаю, как это сказать. Я думаю, ей совсем не до нас: она все время сидит одна и не играет с нами, как прежде.

— Мне кажется, она очень грустит, но не хочет этого показать. Она и к роялю давно не подходит.

Снова молчание.

Другая напоминает:

— Ты хотела что-то рассказать.

— Да, но ты не должна никому говорить, ни маме, ни твоей подруге.

— Нет, нет! — она уже теряет терпение. — В чем дело?

— Вот что... сейчас, когда мы ложились спать, я вдруг вспомнила, что забыла сказать фрейлейн «спокойной ночи». Башмаки я уже сняла, но все-таки побежала к ней в комнату, знаешь, тихонько, чтобы застать ее врасплох. Осторожно я раскрываю дверь. Сперва мне показалось, что ее нет в комнате. Свет горит, а ее не видно. И вдруг — я страшно испугалась — я слышу, кто-то плачет, и вижу, что она, одетая, лежит на постели, уткнувшись головой в подушку. Как она рыдала! Меня даже в дрожь бросило. Но она меня не заметила. И я опять тихонечко закрыла дверь. Я так дрожала, что минуту не могла с места двинуться. Еще раз через дверь до меня ясно донеслось ее рыдание, и я бегом спустилась вниз.

Они обе молчат. — Бедная фрейлейн, — раздается тихий голос одной из них. словно задрожало, как потонувший темный звук, и снова наступает тишина.

— Я хотела бы знать, отчего она плакала, — начинает младшая. — Она ведь ни с кем не ссорилась последние дни, мама тоже, наконец, оставила ее в покое со своими вечными придирками, и мы ей ничего не сделали. Отчего же она так плачет?

— Я, кажется, понимаю, — говорит старшая.

— Отчего, скажи мне, отчего?

Сестра медлит. Наконец, она говорит:

— Я думаю, она влюблена.

— Влюблена? — Младшая пожимает плечами. — Влюблена? В кого?

— Ты ничего не замечаешь?

— Не в Отто же?

— Не в него? И он в нее не влюблен? Почему же он, живя у нас уже три года, никогда не провожал нас, а последние несколько месяцев провожает каждый день? Разве он был любезен когда-нибудь со мной или с тобой, пока у нас не было фрейлейн? А теперь он весь день вертится около нас. Мы все встречаем его случайно, куда бы ни пошли вместе с фрейлейн — в Народный сад, в Городской парк, на Пратер. Ты разве этого не заметила?

Младшая испуганно прошептала:

— Да... да, я это заметила. Только я думала, что...

Голос ей изменяет. Она больше не произносит ни слова.

— Раньше я тоже так думала. Ведь мы, девочки, так глупы. Но я уже давно заметила, что мы служим только предлогом.

Теперь обе молчат. Разговор, как будто, закончен.

Обе погружены в свои мысли или, быть может, в сон.

И еще раз из мрака слышится беспомощный голос младшей:

— Но отчего же она плачет? Он ведь любит ее; я всегда думала: как это хорошо — быть влюбленной.

Я не знаю, — говорит старшая сонным голосом: — я тоже думала, что это должно быть хорошо.

И еще раз, тихо и жалобно, слетают слова с губ засыпающей девочки:

— Бедная фрейлейн!

В комнате воцаряется тишина.

На другое утро они об этом больше не говорят, но обе чувствуют, что мысли их сосредоточены на одном и том же. Они избегают друг друга, но взоры их невольно встре-

чаются, как только им удастся тайком взглянуть на гувернантку. За столом они наблюдают за Отто, их кузенном, который уже годами живет у них в доме, как за чужим. Они с ним не разговаривают, но, под опущенными веками, глаза их искоса следят, не подаст ли он знака их фрейлейн. Они обе встревожены. Сегодня они не играют; нервы, напряженные волнующей тайной, заставляют их заниматься ненужными и безразличными вещами. Вечером одна холодно спрашивает другую, как будто это ее мало интересует:

— Ты опять что-нибудь заметила?

— Нет, — отвечает сестра, отворачиваясь. Обе как будто боятся разговора.

Так проходит несколько дней, в немом наблюдении: дети блуждают вокруг жгучей тайны, к которой влекутся бессознательно и тревожно.

Наконец через несколько дней одна из них замечает, как за столом гувернантка делает Отто знак глазами. Он отвечает кивком головы. Девочка дрожит от волнения. Под столом она тихонько касается руки старшей сестры и, когда та оборачивается, бросает ей сверкающий взгляд. Та мигом поняла ее жест, волнение сестры передается и ей. Едва они встали из-за стола, как гувернантка обращается к девочкам:

— Пойдите к себе и займитесь чем-нибудь. У меня болит голова, я хочу отдохнуть полчаса.

Дети опускают глаза. Насторожившись, они тихонько берутся за руки. Как только гувернантка ушла, маленькая обращается к сестре:

— Смотри, сейчас Отто пойдет к ней в комнату

— Конечно. Потому-то она нас услала.

— Давай подслушивать у двери!

— А вдруг кто-нибудь придет?

— Кто может прийти?

— Мама.

Маленькая испугалась:

— Да, тогда...

— Знаешь что? Я буду подслушивать, а ты останешься в коридоре и подашь мне знак, если кто-нибудь придет. Так мы будем в безопасности.

Маленькая делает недовольное лицо:

— Но ты мне ничего не расскажешь!

Все!

— Наверное, все?... Решительно все?

— Да, даю тебе слово. А ты кашлянешь, как только услышишь чьи-нибудь шаги.

Обе ждут в коридоре, дрожа и волнуясь. Сердце сильно колотится. Что-то будет? Они тесно прижимаются друг к другу.

Шаги. Они разбегаются. В темноту. Так и есть: это Отто. Он берется за ручку, дверь за ним закрывается. Старшая вылетает стрелой и прижимается к двери; прислушивается, затаив дыхание. Младшая с тоской следит за нею. Любопытство мучит ее, она срывается с своего поста. Подкрадывается к сестре, но та сердито ее отталкивает. Она возвращается на свое место. Проходят две-три минуты, которые кажутся ей вечностью. Ее лихорадит от нетерпения; она переступает, как на горячих углях, она готова расплакаться от возбуждения и злости, что сестра все слышит, а она ничего. Но вот из третьей комнаты слышен стук двери. Она капляет. Обе убегают в свою комнату. Там стоят с минуту, почти не дыша, с бьющимся сердцем.

Младшая жадно требует:

— Ну, теперь рассказывай!

Старшая стоит в раздумьи. Наконец, говорит, будто в ответ своим мыслям:

— Я ничего не понимаю.

— Что?

— Это так странно.

— Что?... Что?... — с трудом произносит младшая, задыхаясь. Сестра пытается вспомнить. Маленькая крепко прижалась к ней, чтобы не упустить ни одного слова.

— Все это так странно... Совсем не так, как я себе представляла. Когда он вошел в комнату, он, кажется, хотел ее обнять или поцеловать, потому что она сказала ему: «Оставь, мне нужно поговорить с тобой серьезно». Мне ничего не было видно, ключ был вставлен изнутри, но я слышала все совершенно ясно. «В чем дело?», спросил Отто, но я никогда не слыхала, чтобы он говорил так. Ты ведь знаешь, обычно он говорит так громко и нахально, а тут вдруг так робко, — я сразу почувствовала, что он чего-то боится. И она как будто заметила, что он лжет, и сказала совсем тихо: «Ведь ты уже знаешь».— «Нет, я ничего не знаю». — «В самом деле?», сказала она — и так печально, страшно печально: «Отчего же ты вдруг стал избегать меня? Вот уже неделя, как ты не говоришь со мною ни слова, удаляешься от меня, как только можешь, не гуляешь с детьми, не бываешь в парке! Неужели я сразу стала тебе чужой? О, ты прекрасно знаешь, почему ты стала избегать меня». Он помолчал и потом сказал: «У меня скоро экзамены, я должен много работать, и у меня ни для чего нет времени. Теперь я не могу иначе». Она заплакала и сказала ему сквозь слезы, но так нежно и кротко: «Отто, зачем ты лжешь? Скажи правду, я ведь этого не заслужила. Я ничего от тебя не требую, но поговорить об этом мы должны. Ты же знаешь, что я хочу тебе сказать, я вижу по твоим глазам». — «Что же именно?», прошептал он, но совсем, совсем тихо. И тогда она сказала...

Девочка начинает вдруг дрожать и не может продолжать от волнения. Младшая еще крепче прижимается к ней.

— Что же... что?

— И вот она сказала: «Ведь у меня ребенок от тебя».

Младшая подскочила с быстротой молнии:

— Ребенок! Ребенок! Но это невозможно!

Но она это сказала.

— Ты не расслышала!

— Нет, нет! И он повторил это; подскочил точно так же, как ты, и крикнул: «Ребенок!». Она долго молчала и, наконец, проговорила: «Что теперь будет?» И потом...

— Что потом?

— Потом ты кашлянула, и мне пришлось убежать.

Младшая растерянно смотрит перед собой:

— Ребенок. Это невозможно. Где же у нее ребенок?

— Я не знаю. Это как раз то, чего я не понимаю.

— Может быть, где-нибудь дома... Раньше чем она поселилась у нас. Мама, конечно, не позволила ей взять его с собой из-за нас. Поэтому она так грустит.

— Глупости, тогда она не была даже знакома с Отто.

Они умолкают, беспомощно размышляя и не находя разгадки. Эта мысль их мучит. Младшая заговорила снова:

— Ребенок, это совершенно невозможно! Откуда у нее может быть ребенок? Она ведь не замужем, а только у замужних бывают дети, это я знаю наверное.

— Может быть, она была замужем.

— Не говори глупостей, не за Отто же!

Но откуда же...

Растеряно они глядят друг на друга.

— Бедная фрейлейн, — говорит одна из них с грустью.

Все время срывается с их уст это слово со вздохом страдания. И тут же снова вспыхивает любопытство.

— Девочка или мальчик?

— Кто может знать?

— Как ты думаешь... если бы ее спросить... осторожно-ненько?

— Ты с ума сошла!

— Почему?.. Она ведь так добра с нами.

— Что тебе пришло в голову? Нам этого не скажут. От нас все скрывают. Когда мы входим в комнату, они прекращают разговор и начинают болтать глупости с нами, как будто мы дети. Ведь мне уже тринадцать лет. Зачем же их спрашивать? Нам, все равно, скажут неправду.

— А как бы я хотела знать.

— А разве я не хотела бы?

— Знаешь... что мне совсем непонятно, — как Отто ничего не знал об этом. Всякий знает, что у него есть ребенок, как всякий знает, что у него есть родители.

— Он представляется, негодий, он вечно представляется.

— Но не в таких же делах. Только... только... когда он хочет нас надуть...

Входит фрейлейн. Они сразу умолкают, делая вид, что работают. Но украдкой они поглядывают на нее. Ее глаза кажутся им покрасневшими, голос ее глубже, чем обычно, и дрожит. Они ведут себя тихо и поднимают на нее глаза с благоговейным страхом. Их не покидает мысль: «У нее ребенок, потому она так печальна». И медленно ее печаль передается им.

На другой день, за столом, их ждет неожиданная весть. Отто покидает их дом. Он заявил дяде, что экзамены у него на носу и он должен усиленно работать, а тут ему мешают заниматься. Он наймет себе где-нибудь комнату на один-два месяца, пока не закончатся экзамены.

Узнав об этом, дети приходят в ужасное волнение. Они угадывают тайную связь этого события со вчерашним разговором, своим обостренным инстинктом чувствуют какую-то трусость, бегство. Когда Отто прощается с ними, они грубо отворачиваются. Но исподтишка следят за ним, когда он подходит к фрейлейн. У фрейлейн дрожат губы, но, не говоря ни слова, она подает ему руку.

За последние дни дети стали совершенно иными. Они не играют, не смеются, глаза потеряли веселый беззаботный блеск. Ими владеют беспокойство и неуверенность, угрюмое недоверие ко всем окружающим. Они не верят тому, что им говорят, в каждом слове подозревают ложь и заднюю мысль. Целыми днями они высматривают и наблюдают, следят за каждым движением, ловят каждый жест, каждую интонацию. Как тени, они бродят по комнатам, подслушивают у дверей, стараясь что-нибудь уловить. Страстным усилием они пытаются стряхнуть со своих плеч темную сеть этих тайн или бросить хоть один взгляд сквозь нее в мир действительности. Детская вера — эта веселая, беззаботная слепота — спала с их глаз. И еще: в напряженности событий они предчувствуют новый взрыв и боятся, как бы он не ускользнул от них. С тех пор как они знают, что они опутаны ложью, они стали упрямы, подозрительны, даже хитры и лживы. В присутствии родителей они надевают на себя личину детской простоты и проявляют чрезмерную живость. Все их существо полно первого беспокойства, их глаза, прежде светившиеся мягким и поверхностным блеском, стали сверкающими и глубокими. Они так беспомощны в своем постоянном выслеживании и шпионстве, что их взаимная любовь становится все глубже. Иногда они вдруг обнимают порывисто друг друга, сближенные чувством своего неведения, обуреваемые внезапно вспыхнувшей потребностью ласки; иногда за-

льются слезами. Без всякой видимой причины в их жизни наступил кризис.

Среди многих обид, к которым они стали теперь очень чувствительны, одна особенно задевает их. Без всякого уговора они как бы условились доставлять своей опечаленной фрейлейн как можно больше удовольствий. Уроки свои они готовят прилежно и старательно, помогая друг другу; их не слышно, они не подают никакого повода к жалобам, стараются предупредить каждое ее желание. Но фрейлейн этого не замечает, и им это очень больно. Она стала совсем другой за последнее время. Иногда, когда одна из девочек обращается к ней, она вздрагивает, как будто нарушили ее сон. Ее блуждающий взор как будто возвращает ее из дальних странствий. Часами она сидит, погруженная в раздумье. Девочки ходят на цыпочках кругом нее, чтобы не мешать ей; они чувствуют смутно и таинственно: теперь она думает о своем ребенке, который где-то далеко. И все больше, из глубины своей пробуждающейся женственности, они привязываются к фрейлейн, которая стала теперь такой кроткой и милой. Ее обычно быстрая и гордая походка стала спокойнее, ее движения осторожнее, и во всем дети угадывают какую-то скрытую печаль. Слез ее они не видели, но веки ее часто красны. Они замечают, что фрейлейн старается скрыть от них свою печаль, и они в отчаянии, что не могут ей помочь.

И вот однажды, когда фрейлейн отвернулась к окну и платком провела по глазам, младшая, набравшись храбрости, тихонько берет ее за руку и говорит:

— Фрейлейн, вы так грустны последнее время. Это не наша вина, не правда ли?

Фрейлейн растроганно смотрит на нее и гладит рукой ее мягкие волосы.

— Нет, дитя мое, нет, — говорит она, — конечно, не ваша. — И нежно целует ее в лоб.

Выжидая и наблюдая, не упуская ничего, что попадало в их поле зрения, одна из них, входя в комнату, уловила несколько слов. Это была всего одна фраза, — родители тотчас же оборвали разговор, — но каждое слово возбуждает в них теперь тысячи предположений. «Мне тоже что-то показалось», сказала мать. «Я учиню ей допрос». Девочка сначала отнесла это к себе и, полная тревоги, поспешила к сестре за советом и помощью. Но за обедом они замечают, что взоры родителей испытующе обращаются сперва к безразлично-задумчивому лицу фрейлейн, а затем друг к другу.

После обеда мать, как бы между прочим, обращается к фрейлейн: — Зайдите, пожалуйста, ко мне в комнату. Мне нужно с вами поговорить. — Фрейлейн тихо кивает головой. Девочки дрожат, они чувствуют: теперь что-то должно случиться.

И как только фрейлейн выходит из комнаты, они бегут вслед за ней. Прилипать к дверям, прятаться по углам, подслушивать и выслеживать — стало для них совершенно естественным. Они уже не чувствуют ни безобразия, ни смелости своего поведения: у них только одна мысль — овладеть всеми тайнами, которые старшие так тщательно скрывают от их взоров.

Они подслушивают. Но до их слуха доносится только слабый шелест произносимых шепотом слов. Их тела охвачены нервною дрожью. Они боятся, что все ускользнет от них.

Но вот оттуда раздается громкий голос. Это голос их матери. Он звучит сердито и сварливо.

— Что же, вы думали, что все люди слепы и никто этого не заметит? Могу себе представить, как вы исполняли свои обязанности, с такими мыслями и с такой нравственностью. И подобной особе я доверила воспитание своих детей, своих дочерей, которыми вы — бог знает как — пренебрегали!..

Фрейлейн, кажется, что-то возражает, но она говорит слишком тихо, и дети ничего не могут разобрать.

— Отговорки, отговорки! У всякой легкомысленной женщины наготове отговорки. Отдается первому встречному, ни о чем не думая. А вась, бог поможет. И это — воспитательница, берется воспитывать девочек! Это наглость! Надеюсь, вы не рассчитываете, что в таком положении я вас буду держать у себя в доме?

Дети подслушивают у двери. Их охватывает дрожь. Они не все понимают, но их приводит в ужас гневный голос матери и — в ответ — тихие, безудержные рыдания фрейлейн. Слезы наполняют их глаза; но раздражение матери, кажется, все увеличивается.

— Это единственное, что вы умеете, — проливать теперь слезы. Меня это не трогает. К таким людям у меня нет сострадания. Что с вами будет, меня совершенно не касается. Вы знаете, к кому вам нужно обратиться, я вас даже не спрашиваю об этом. Я знаю только одно: того, кто так низко пренебрег своим долгом, я ни одного дня не потерплю в своем доме.

В ответ — одно рыдание, отчаянное, дикое, звериное рыдание, от которого девочек за дверью трясет лихорадка. Никогда они не слышали таких рыданий. И смутно они чувствуют: кто так плачет, не может быть виноватым. Мать умолкла и ждет. Вдруг она опять заговорила резко:

— Вот это я хотела вам сказать. Уложите сегодня свои вещи и завтра утром приходите за жалованьем. Прощайте.

Дети отскакивают от дверей и спасаются в свою комнату. Что это было? Будто молния упала перед ними. Они стоят, бледные, в трепете. В первый раз они как будто коснулись действительности. И в первый раз они осмеливаются испытывать возмущение против своих родителей.

— Это было низко со стороны мамы так говорить с ней, — бросает старшая, закусив губы.

Младшую пугает смелость этих слов.

— Но мы ведь не знаем, что она сделала, — лепечет она жалобно.

— Наверное, ничего дурного. Фрейлейн не сделает ничего дурного. Мама ее не знает!

— А как она плакала! Мне стало страшно.

— Да, это было ужасно. Но как мама на нее кричала! Это было подло, говорю тебе, подло!

Она топает ногой. Слезы застилают ей глаза. Входит фрейлейн. Она выглядит очень усталой.

— Дети, я занята сегодня после обеда. Вы останетесь одни, на вас можно положиться, не правда ли? Вечером я к вам приду.

Она уходит, не замечая волнения, овладевшего детьми.

— Ты видела, у нее совсем заплаканные глаза. Я не понимаю, как мама могла с ней так обращаться.

— Бедная фрейлейн!

Опять прозвучали эти слова, полные сострадания и слез. Растерянно стоят они. Входит мать и спрашивает, не хотят ли они покататься с ней. Дети уклоняются. Они боятся матери. И они возмущены, что им ничего не говорят об уходе фрейлейн. Они предпочитают остаться одни. Как ласточки в тесной клетке, они перебегают с места на место, задыхаясь в этой атмосфере лжи и замалчивания. Они размышляют, не пойти ли им к фрейлейн спросить ее, поговорить с нею обо всем, сказать ей, что она

должна остаться и что мама не права, — но они боятся обидеть ее. И потом им стыдно: все, что они знают, они ведь подслушали и выследили. Они должны представляться глупыми, такими же глупыми, какими были две-три недели тому назад. Они остаются одни все нескончаемо долгое послеобеденное время, в раздумьи и слезах, а в ушах все звучат эти ужасные голоса — злой, бессердечный гнев матери и отчаянное рыдание фрейлейн.

Вечером фрейлейн мельком заглядывает к ним и говорит им «спокойной ночи». Дети дрожат, видя, что она уходит, хочется что-то еще сказать ей. Но вот, подойдя уже к двери, она вдруг оборачивается еще раз, как будто остановленная этим немым желанием. Что-то блестит в ее глазах, влажных и печальных. Она обнимает детей, которые начинают неудержимо рыдать, целует их еще раз и быстро уходит.

Дети в слезах. Они чувствуют, что это было прощание.

— Мы ее больше не увидим! — говорит одна.

— Я уверена; когда мы завтра придем из школы, ее уже не будет.

— Может быть, мы когда-нибудь навестим ее. Тогда она, наверное, покажет нам своего ребенка.

— Да, она так добра.

— Бедная фрейлейн! — Эти слова прозвучали, как вздох о их собственной судьбе.

— Ты можешь представить себе, как все будет без нее?

— Я никогда не полюблю другую фрейлейн.

— Я тоже.

— Ни одна не будет так добра к нам. И потом...

Она не решается сказать. Но неосознанное женское чувство внушает им уважение к ней, с тех пор как они знают, что у нее есть ребенок. Обе беспрестанно думают об этом

и теперь уже не с прежним детским любопытством, но глубоко растроганные и полные сочувствия.

— Послушай, — говорит одна из них, — послушай...

— Что?

— Знаешь, мне бы хотелось сделать удовольствие фрейлейн. Пусть она знает, что мы ее любим и что мы не такие, как мама. Хочешь?

— Как ты можешь спрашивать!

— Я вспомнила, она очень любит белые розы, и мы могли бы завтра утром, перед школой, купить несколько роз и поставить ей в комнату.

— Когда же?

— К обеду.

— Ес, наверное, уже не будет. Знаешь, я лучше сбегаю раненько и принесу так, чтобы никто не заметил. И мы поставим их к ней в комнату.

— Да, и встанем пораньше.

Они достают свои копилки и честно высыпают все свои деньги. Теперь они повеселели от сознания, что они смогут выразить фрейлейн свою немую, преданную любовь.

Они встают чуть свет. В их слегка дрожащих руках прекрасные, свежие розы. Они стучатся в дверь к фрейлейн; но ответа нет. Решив, что фрейлейн еще спит, они осторожно входят. Комната пуста, постель не смята.

Все разбросано, в беспорядке, на темной скатерти белеют несколько писем.

Дети испуганы. Что случилось?

— Я пойду к маме, — решительно заявляет старшая.

И упрямо, с мрачным выражением глаз, без малейшего страха, она появляется перед матерью и спрашивает:

— Где наша фрейлейн?

— Она, вероятно, у себя в комнате,— удивленно отвечает мать.

— Ее комната пуста, постель не смята. Она, должно быть, ушла еще вчера вечером. Почему нам ничего не сказали об этом?

Мать совершенно не замечает сердитого, вызывающего тона. Она побледнела, входит к отцу, который быстро исчезает в комнате фрейлейн.

Долго он остается там. Девочка гневными глазами следит за матерью, которая, повидному, сильно взволнована и не решается встретиться с нею взглядом.

Отец возвращается. Он бледен; у него в руках письмо. Он идет с матерью в комнату и тихо говорит ей что-то. Дети стоят за дверью, но не решаются подслушивать. Они боятся гнева отца: таким они его никогда не видали.

Мать выходит из комнаты с заплаканными глазами и смотрит растеряннo. Дети, не отдавая себе отчета, точно под влиянием ее страха, идут ей навстречу с вопросом на устах. Но она резко говорит им:

— Идите в школу, уже поздно.

И дети должны идти. Как во сне, сидят они в школе четыре-пять часов вместе с другими, но не слышат ни слова. Стремительно мчатся они домой.

Там все по-старому. Только одна ужасная мысль будто овладела всеми. Никто ничего не говорит, но все, даже прислуга, глядят как-то странно. Мать идет детям навстречу. Она как будто приготовилась сказать им что-то. Она начинает:

— Дети, ваша фрейлейн больше не вернется, она...

Она не решается договорить. Сверкающие взоры девочек так угрожающе впились в ее глаза, что она не решается солгать. Она отворачивается и уходит, спасается бегством в свою комнату.

После обеда вдруг появляется Отто. Его вызвали, для него есть письмо. Он тоже бледен. Растерянно оглядывается. Никто с ним не разговаривает. Все его избегают. Он видит притаившихся в углу девочек и хочет с ними поздороваться.

— Не тронь меня, — говорит одна, вздрагивая от отвращения. Другая плюет перед ним на пол. Смущенный, растерянный, он блуждает по комнате. Потом исчезает.

Никто не разговаривает с детьми. Они сами хранят молчание. Бледные и растерянные, беспомощные, как звери в клетке, бродят они по комнатам, встречаются, глядят друг другу в заплаканные глаза и не говорят ни слова.

Они знают теперь все. Они знают, что им лгали, что все люди могут быть дурными и подлыми. Родителей своих они не любят, они потеряли веру в них. Они знают, что никому нельзя доверять. Теперь вся чудовищная тяжесть жизни обрушится на их хрупкие плечи. Из веселого уюта своего детства они как будто упали в пропасть. Они еще не могут постигнуть всего ужаса происшедшего, но все их мысли вертятся вокруг него и грозят задушить их. Лихорадочный жар окрасил их щеки, взгляд у них злой и раздраженный. Как бы замерзая в своем одиночестве, ходят они взад и вперед. Никто, даже родители не решаются с ними заговорить, — так ужасен их взгляд. Их беспрестанное хождение по комнатам выдает терзающее их волнение. И пугающая связь между обоими, ясная без слов. Это молчание, это непроницаемое, ни о чем не спрашивающее молчание, эта коварная замкнувшаяся боль, без крика и без слез, делает их всем чужими и опасными. Никто не приближается к ним, путь к их душам закрыт, — быть может, на целые годы. Все чувствуют в них врагов — врагов беспощадных, не умеющих прощать. Со вчерашнего дня они уже не дети.

Этот день состарил их на много лет. И только вечером, когда они остались одни во мраке своей комнаты, пробуждается в них детский страх — страх перед одиночеством, перед призраками умерших, и полный предчувствий страх перед неизвестностью. Среди общего волнения в доме позабыли вытопить их комнату. Ежась от холода, они ложатся в одну постель, худенькими детскими ручонками обвивают друг друга, прижимаются друг к другу своими детскими, еще не расцветшими телами, как бы ища защиты от обуревающего их страха. Они все еще не решаются говорить друг с другом. Наконец, младшая разражается слезами, и старшая рыдает вместе с нею. Крепко обнявшись, они плачут. По их лицам текут горячие слезы — сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Прижавшись грудью к груди, они заражают друг друга судорожными рыданиями. Объятые одним горем, они составляют одно тело, плачущее во мраке. Теперь они оплакивают уже не свою фрейлейн, не родителей, которые с этих пор вычеркнуты из их жизни: их охватывает внезапный ужас — страх перед тем, что ждет их в неведомом для них мире, в который они бросили сегодня первый испуганный взгляд. Им страшно перед жизнью, в которую они вступают, — перед жизнью, мрачной и угрожающей, как темный лес, через который им предстоит пройти.

Тускнеет смутное чувство страха; постепенно переходя в сон, утихают рыдания. Их дыхания сливаются в одно, как сливались только что их слезы. Наконец, они засыпают.

ЖГУЧАЯ ТАЙНА

ПЕРЕВОД П. С. БЕРНШТЕЙН

ПАРТНЕР

Локомотив хрипло засвистел: поезд подходил к Земмерингу. В серебристом свете горных вершин черные вагоны на минуту останавливаются, чтобы выбросить нескольких пассажиров и проглотить других. Раздаются сердитые голоса, и снова засвистала впереди осипшая машина, увлекая за собой в пещеру туннеля черную громохочущую цепь. Опять расстилается перед глазами ясный ландшафт на чисто выметенном влажном ветром фоне.

Один из прибывших, молодой человек, приятно выделяющийся изяществом одежды и природной гибкостью походки, поторопился раньше других взять извозчика в гостиницу. Не спеша, лошади поднимаются по горной дороге. В воздухе чувствуется весна. По небу пробегают белые облака, — беспокойные, какими они бывают только в мае и июне. Как юные, легкомысленные гуляки, они мчатся, играя, по синей дороге, то прячутся за высокие горы, то обнимаются и убегают, то складываются в платочек, то разрываются на полоски и, наконец, дурачась, нахлобучивают белую шапку на вершины гор. Непокойно ведет себя и ветер: он так буйно раскачивает тощие, еще влажные после дождя деревья, что они тихо хрустят в суставах и сбрасывают на землю тысячи капель, словно искры. Порою с вершин доносится свежий запах снега, а затем дыхание ловит что-то сразу сладкое и острое. Все в воздухе и на земле полно движения и нетерпеливо

бродящих сил. Слегка фыркая, лошади бегут по спускающейся дороге; далеко впереди слышен звон их бубенцов.

В гостинице молодой человек первым делом просмотрел список приезжих, который быстро его разочаровал. В нем уже зашевелился беспокойный вопрос: «Зачем, собственно, я приехал сюда? Сидеть тут, на горе, без общества — это, право, хуже, чем в канцелярии. Очевидно, я приехал не то слишком рано, не то слишком поздно. Мне всегда не везет с отпуском. Ни одной знакомой фамилии во всем этом списке. Было бы хоть несколько дам на худой конец — маленький, невинный флирт, чтобы не проскучать целую неделю».

Молодой человек — барон, принадлежавший к не слишком громкой фамилии австрийского чиновного дворянства, служил в наместничестве и взял себе этот маленький отпуск без особой надобности: все его коллеги выхлопотали себе эту весеннюю неделю, и он тоже не пожелал посвящать ее служебным обязанностям. Не лишенный некоторых дарований, он любил общество; его охотно принимали во всех кругах. У него не было ни малейшей склонности оставаться наедине с самим собой, и он, по возможности, избегал этих встреч, не стремясь к более интимному знакомству со своей особой. Он вполне сознавал свою неприспособленность к одиночеству; он знал, что ему нужно соприкосновение с людьми, чтобы в общении с ними могли развернуться все его таланты — его сердечность и темперамент, — в одиночестве он был холоден и бесполезен, как спичка в коробке.

Недовольный, он ходил взад и вперед по пустому залу, то нерешительно перелистывая газеты, то пытаясь наигрывать на рояле вальс, — но ритм ему не давался. Наконец, раздосадованный, он уселся у окна и смотрел, как медленно спускались сумерки и из-за сосен подымался

седой туман. Так убил он, нервничая, целый час и, наконец, попробовал спастись бегством в столовую.

Там было занято всего несколько столиков, которые он окинул быстрым взглядом. Напрасно! Ни одного знакомого. Вон там—он лениво ответил на поклон—берейтор с ипподрома, да там еще знакомое лицо с Рингштрассе—и больше никого. Ни одной женщины, никакой надежды хотя бы на мимолетное приключение. Его скверное настроение возрастало. Он принадлежал к числу тех молодых людей, которые, благодаря красивой наружности, пользуются успехом, всегда готовы к новым встречам, к новым впечатлениям и напряженно ищут приключений с неверным исходом. Их ничто не поражает, все точно рассчитано, ничто эротическое не ускользает от них; первый взгляд, который они бросают на женщину, уже оценивает ее с чувственной стороны,—все равно, будет ли это жена их друга или горничная, открывающая им дверь. Таких людей с некоторым презрением называют «охотниками за женщиной», но при этом обычно не замечают, сколько наблюдательности и правды заключено в этом определении; в самом деле, все страстные инстинкты охоты,—выслеживание, возбужденность и жестокость—разгораются в неутолимой бдительности этих людей. Они постоянно на-чеку и всегда готовы по следам приключения дойти до края пропасти. Они всегда заряжены страстью,—но страстью не любовника, а игрока,—холодной, расчетливой и опасной. Между ними есть упорные, которых не только юность, но и вся жизнь, в этом вечном ожидании, становится сплошным приключением: их день разлагается на сотни мелких чувственных впечатлений—мимолетный взгляд, украденная улыбка, прикосновение к колену соседки,—а год—на сотни таких дней; чувственные переживания служат для них неиссякаемым питательным и воспламеняющим источником жизни.

Здесь не было партнера для игры,—он определил это сразу. Нет большей досады для игрока, сидящего за зеленым столом с картами в руках и с сознанием своего превосходства, как тщетное ожидание партнера. Барон потребовал газету. Раздраженно скользил его взор по строкам, но его мысли хромали и, точно пьяные, спотыкались о слова.

Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, слегка сердитый и аффектированный: «*Mais tais-toi donc, Edgar!*»¹

У его стола прошумело шелковое платье, и высокая, пышная фигура проплыла мимо него; за ней следовал маленький бледный мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на него любопытный взгляд. Они сели против него за оставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя корректно, но это не вязалось с беспокойным выражением его черных глаз. Дама—на нее было устремлено все внимание барона—была одета тщательно и с видимой элегантностью. К тому же она принадлежала к излюбленному бароном типу: еврейка, слегка полная, еще не перезрелая; повидимому, страстная натура, но умеющая скрывать свой темперамент под маской благородной меланхолии. Ему не удалось сразу заглянуть в ее глаза, и он восхищался пока лишь тонко очерченной линией бровей, красиво закругленных над тонким носом, который, хотя и выдавал ее происхождение, но своей благородной формой сообщал профилю изящество и отчетливость. Волосы, как и все женственное в этой полной фигуре, отличались чрезвычайной пышностью. Полное сознание своей красоты, пресыщенной поклонением, придавало ей самоуверенный вид. Тихим голосом она заказывала

¹ Замолчишь ли ты, наконец, Эдгар! — *Прим. перев.*

вала обед и делала замечания мальчику, бренчавшему вилок, — все это с видимым безразличием, как будто не замечая осторожных, украдкой обращавшихся к ней взглядов барона; в действительности же только настойчивое его внимание было причиной ее сдержанности.

Мрачность в лице барона мигом рассеялась, невидимый ток пробежал по нервам, складки разгладились, мускулы напряглись; вся его фигура выпрямилась, и глаза засверкали. Он сам был немного похож на тех женщин, которым необходимо присутствие мужчины для того, чтобы развернуть все свои силы. Только чувственное возбуждение напрягало его энергию. Охотник почуял добычу. Вызывающе он искал глазами ее взгляда, не раз неопределенно сверкнувшего мимо него; но желанного, решительного ответа на его вызов не было в этих беглых взглядах. Ему казалось, что губы ее складываются в чуть заметную улыбку, но все это было неопределенно, и эта неопределенность еще больше возбуждала его. Единственное, что подавало ему надежду, — это был ее взгляд, упорно скользящий мимо него, — он чувствовал в нем противодействие и в то же время робость — и еще нарочитый, рассчитанный на зрителя тон разговора с ребенком. Он чувствовал, что за ее видимо подчеркнутым спокойствием скрывается волнение. И он тоже был взволнован; игра началась. Он не торопился с обедом, в течение получаса он почти не отрывал глаз от этой женщины, — пока не запечатлел каждую черту ее лица, не коснулся незаметным взглядом всего ее роскошного тела. За окном грузно спускались сумерки, лес вздыхал в детском страхе, огромные дождевые тучи протягивали к ним свои серые руки, все мрачнее ползли в комнату тени, люди казались здесь все более подавленными молчанием. Разговор матери с сыном, под угрозой этой тишины, — замечал он, — становился все

более принужденным, все более искусственным; скоро — можно было предвидеть — разговор прекратится.

Он решил сделать опыт. Он встал первым и, глядя мимо нее на ландшафт, медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто что-то забыл, — и поймал ее живой взгляд, провожавший его.

Это его заинтересовало. Он подождал в зале. Она скоро появилась, ведя мальчика за руку, мимоходом перелистала журналы и показала сыну несколько картинок. Но когда барон, как бы случайно, подошел к столу, — чтобы поискать журнал, в действительности же — заглянуть поглубже в ее влажно блестящие глаза, может быть даже — завязать разговор, — она отвернулась, проговорила, слегка хлопнув мальчика по плечу: «Viens, Edgar! Au lit!»,¹ и холодно прошумела мимо него. Несколько разочарованный, барон посмотрел ей вслед. Он, собственно, рассчитывал познакомиться в этот же вечер, и резкий отказ удивил его. Но, в конце концов, в этом противодействии была своя прелесть, и как раз эта неуверенность подзадоривала его. Все равно: он нашел партнера; можно начать игру.

БЫСТРАЯ ДРУЖБА

Когда на другое утро барон вошел в зал, он увидел сына прекрасной незнакомки в оживленной беседе с двумя мальчиками, дежурившими у лифта: он показывал им картинки в книге Карла Мая. Его матери не было; вероятно, она была еще занята своим туалетом. Теперь только барон обратил внимание на ребенка. Это был застенчивый, физически неразвитый, нервный мальчик, приблизительно двенадцати лет, с резкими движениями и темными, блу-

¹ Идем, Эдгар! Спать пора! — *Прим. перев.*

ждающими глазами. Как многие дети в этом возрасте, он производил впечатление несколько запуганного, как будто его только-что разбудили от сна и перенесли в чуждую обстановку. Его нельзя было назвать некрасивым, но была в нем какая-то неопределенность: борьба мужского начала с детским, повидимому, только что начиналась; его формы были в процессе лепки, еще не законченном, его лицо, лишенное определенно очерченных линий, было бледно и беспокойно. Он был в том невыгодном возрасте, когда костюм всегда не по ребенку, рукава и брюки болтаются на худых конечностях; тщеславие еще не заставляет следить за своей наружностью.

Слоняясь без дела, мальчик производил довольно жалкое впечатление. Собственно говоря, он мешал здесь всем. То отстранит его швейцар, к которому он пристаёт со всякими расспросами, то он трется у входной двери. Повидимому, он томился отсутствием товарищей. Детская потребность в болтовне побуждала его искать собеседников среди служащих отеля, которые отвечали ему, когда у них было время, и прекращали разговор, как только показывался кто-нибудь из взрослых. Барон, улыбаясь, с интересом наблюдал бедного мальчика, который на все смотрел с таким любопытством и от которого все недружелюбно отворачивались. Вот он поймал один из этих любопытных взглядов, но черные глаза сейчас же испуганно ушли внутрь и спрятались за опущенными веками. Это забавляло барона; мальчик заинтересовал его, и он задал себе вопрос, не может ли этот ребенок, застенчивость которого объясняется, вероятно, только страхом, послужить посредником для скорейшего сближения. Во всяком случае, надо попытаться. Незаметно он пошел за мальчуганом, который только-что выскочил на двор и, побуждаемый детской потребностью в ласке, стал гладить

розовые востри белой лошади; но и здесь — ему положительно не везло — кучер довольно грубо остановил его. Обиженный и скучающий, он опять слонялся с пустым и печальным выражением глаз. Тут барон заговорил с ним.

— Ну, молодой человек, как тебе здесь нравится? — спросил он, стараясь придать своему обращению самый простой и веселый тон.

Мальчик покраснел до корней волос и посмотрел на него смущенно. Точно в испуге, он прижал руку к груди и застенчиво переминался с ноги на ногу. Никогда до сих пор не случалось, чтобы с ним заговорил чужой господин.

— Благодарю вас, очень нравится, — с трудом проговорил он. Последние слова он точно выдавил из себя.

— Это меня удивляет, — сказал барон, смеясь, — в сущности, это довольно скучное место, — особенно для молодого человека, как ты. Что же ты делаешь целый день?

Мальчуган был еще слишком смущен и не нашел сразу, что ответить. Ведь до сих пор его никто знать не хотел, и вдруг этот эlegantный господин вступил с ним в разговор. Неужели это правда? Эта мысль наполняла его сразу и робостью и гордостью. С трудом он собрал все свое мужество.

— Я читаю, и потом мы ходим много гулять. Иногда мы ездим кататься — мама и я. Я должен здесь поправляться, я был болен. Доктор сказал, что я должен много сидеть на солнце.

Последние слова он проговорил увереннее. Дети всегда гордятся перенесенной болезнью: они знают, что опасность делает их в глазах близких более значительными.

— Да, солнце полезно для таких молодцов, как ты, ты загорись хорошенько. Но зачем ты сидишь здесь целый день? Юноша в твоём возрасте должен больше бегать, и быть смелым, и пошалить немного. Мне кажется,

ты слишком благовоспитан, ты такой комнатный, с этой толстой книгой под мышкой. Помню, каким я был сорванцом в твоём возрасте! Каждый вечер приходил домой в рваных брюках. Не надо быть слишком послушным!

Мальчик невольно улыбнулся, и страх его исчез. Он хотел что-то возразить, но это казалось ему слишком смелым, слишком дерзким по отношению к этому милому незнакомцу, который так ласково разговаривал с ним. Он никогда не был нескромным, всегда быстро конфузился, а сейчас от счастья и стыда пришел в совершенное смущение. Ему очень хотелось продолжать беседу, но ничего не приходило в голову. К счастью, явился большой желтый сен-бернар, обнюхал их обоих и позволил себя погладить.

— Ты любишь собак? — спросил барон.

— Очень! У моей бабушки есть собака. Когда мы живем в Бадене, в бабушкиной вилле, собака целый день со мной. Но это только летом, когда мы там гостим.

— У нас в имении их, наверное, дюжины две. Если ты будешь хорошим мальчиком, я подарю тебе одну из них. Коричневого щенка с белыми ушами. Хочешь?

Мальчик покраснел от радости.

— О, да!

Это вырвалось у него горячо и жадно. Но за этим сейчас же последовало боязливое и испуганное раздумье.

— Но мама не позволит. Она говорит, что не любит собак в доме: с ними слишком много хлопот.

Барон улыбнулся. Наконец-то разговор коснулся мамы.

— Разве мама так строга?

Ребенок подумал, посмотрел на него, будто спрашивая, можно ли довериться этому чужому человеку. Ответ последовал осторожный.

— Нет, мама не очень строга. Теперь, после болезни, она позволяет мне все. Может быть, она позволит мне взять и собаку.

— Хочешь, я попрошу ее?

— Да, пожалуйста, попросите, — обрадовался мальчуган. — Тогда мама, наверное, позволит. Какого цвета ваша собака? У нее белые уши, не правда ли? Она умеет носить поноску?

— Да, она умеет все. — Барон улыбнулся, заметив блеск в глазах мальчугана: так легко оказалось зажечь в нем искру! Сразу исчезла застенчивость, и страстность, сдерживаемая робостью, закипела. Боязливый, запуганный ребенок с быстротой молнии преобразился в шалуна.

«Если бы и у матери за этим страхом скрывалась такая страстность!» — невольно подумал барон. Но мальчик уже осыпал его вопросами:

— Как зовут вашу собаку?

— Каро.

— Каро! — восторгался мальчик. Ему хотелось смеяться и радоваться каждому слову. Он был совершенно охвачен этим неожиданным событием: кто-то дружески подошел к нему. Барон сам удивлялся своему быстрому успеху и решил, что надо ковать железо, пока горячо. Он пригласил мальчика пойти погулять, и бедный ребенок, изголодавшийся за целые недели по обществу, был в восторге от этого предложения. Он беспечно болтал обо всем, на что навел его новый друг. При помощи мелких, как бы случайных вопросов барон быстро узнал все, что касалось их семьи: что Эдгар был единственным сыном венского адвоката, принадлежащего, видимо, к состоятельной еврейской буржуазии; что мать не в восторге от пребывания в Земмеринге и жалуется на отсутствие приятного общества; из уклончивого ответа Эдгара на вопрос, очень ли

мама любит папу, он уловил, что дело обстоит не вполне благополучно. Ему стало почти стыдно той легкости, с какой он выпытал у доверчивого мальчика все эти мелкие семейные тайны. Эдгар, гордясь тем, что может удовлетворить своими рассказами интерес своего взрослого друга, почти навязывал ему свою откровенность. Его детское сердце наполнилось гордостью, когда барон во время прогулки положил руку ему на плечо: все могут видеть его интимность с взрослым человеком. Забыв о своих годах, он болтал с ним свободно и непринужденно, как со своим сверстником. Эдгар был, судя по разговору, очень умен, не по возрасту развит, как большинство болезненных детей, которые проводят много времени со взрослыми, и отличался острой страстностью в своих симпатиях или вражде. Ни к чему у него не было спокойного отношения; о каждом человеке, о каждой вещи он говорил или восторженно, или с такой резкостью, что лицо его перекашивалось и становилось почти злым и безобразным. Что-то дикое и неровное, вызванное, быть может, недавно перенесенной болезнью, сообщало его речам фанатический огонь. Казалось, что его неловкость была не что иное, как с трудом подавляемый страх перед собственной страстностью.

Барону нетрудно было приобрести его доверие. Всего полчаса потребовалось для того, чтобы завладеть этим горячим, нервно вздрагивающим сердцем. Так бесконечно легко обманывать детей: это доверчивые существа, любви которых так редко добиваются. Ему стоило только перенестись в прошлое, — и с такой легкостью, с такой непринужденностью он вошел в тон детского разговора, что мальчику казалось, будто он разговаривает с равным; разделявшая их пропасть скоро исчезла. Он был счастлив, что здесь, в этом пустынном месте, неожиданно нашел

друга — и какого друга! Забыты венские товарищи с их тоненькими голосами и наивной болтовней: точно стерты из памяти их образы с этого знаменательного часа. Вся его восторженная страстность принадлежала теперь этому новому, взрослому другу. Его сердце ширилось от гордости, когда барон, прощаясь, еще раз пригласил его прийти завтра утром, и когда новый друг, удаляясь, кивнул ему, как брату. Это была, может быть, лучшая минута в его жизни. Ничего нет легче, как обманывать детей. Барон улыбнулся вслед убегающему мальчику. Посредник был найден. Он знал, что мальчик замучит свою мать рассказами, повторением каждого слова, — и с удовольствием вспоминал, как ловко он вставил в разговор несколько комплиментов по адресу матери, называя ее все время «красавицей». Для него не было сомнений в том, что общительный мальчик не успокоится, пока не познакомит его со своей матерью. Он сам больше палец о палец не ударит, чтобы сократить расстояние между собой и прекрасной незнакомкой; он может спокойно наслаждаться ландшафтом и мечтать: он знает, что горячие детские руки прокладывают ему мост к ее сердцу.

ТРИО

План был великолепен, как обнаружилось через час, и удался до мельчайших подробностей. Когда барон с намеренным опозданием вошел в столовую, Эдгар вскочил со своего стула, поклонился со счастливой улыбкой и замахал ему рукой. В то же время он потянул свою мать за рукав; быстро и взволнованно он что-то объяснял ей, указывая жестами на барона. Она, краснея и смущаясь, сделала ему выговор за чрезмерную живость, но, уступая желанию мальчика, была вынуждена взглянуть в сторону барона, который усмотрел в этом повод для почтительного

поклона. Знакомство было завязано. Она ответила на поклон, но затем склонила лицо над тарелкой и в течение всего обеда больше ни разу не взглянула на него. Иначе держал себя Эдгар, который все время поглядывал на барона и раз даже пытался заговорить с ним через стол. Энергичный выговор был следствием столь неприличного поведения. После обеда ему было сказано, что он должен идти спать, и между ним и матерью начались тихие переговоры; в результате его горячих просьб, ему было разрешено подойти к другому столу и проститься со своим другом. Барон сказал ему несколько ласковых слов, снова вызвавших блеск в глазах мальчика. Поболтав с ним несколько минут, барон вдруг повернулся, встал и подошел к другому столу. Он поздравил несколько смущенную соседку с умным, развитым сыном, упомянул об удовольствии, которое доставили ему проведенные с ним часы, — Эдгар стоял рядом, краснея от гордости и счастья, — и, в заключение, стал расспрашивать об его здоровье. Его вопросы были так внимательны и подробны, что мать Эдгара была вынуждена отвечать ему. Так завязалась продолжительная беседа, к которой мальчик прислушивался, сияя от счастья и преисполненный благоговения. Барон представился, и ему показалось, что его звучная фамилия польстила ее тщеславию. Во всяком случае, она была чрезвычайно предупредительна, хотя не сказала ничего лишнего и даже равно простилась, извиняясь необходимостью уложить мальчика.

Мальчик энергично протестовал, уверяя, что он не устал, и выразил готовность просидеть хоть всю ночь. Но мать уже протянула барону руку, которую тот почтительно поцеловал. Эдгар плохо спал эту ночь. В нем бушевало какое-то смешанное чувство счастья и детского отчаянья. Что-то новое вступило сегодня в его жизнь. Впервые он принял участие в жизни взрослых. В полусне он забыл свой воз-

раст, и ему казалось, будто он сразу вырос. До сих пор он жил в одиночестве и часто болел, поэтому у него было мало друзей. Для удовлетворения потребности в ласке он мог обращаться только к родителям, которые мало им занимались, и к прислуге. Сила любви измеряется не вызвавшим ее поводом, а напряжением, которое ей предшествует, — той пустой, темной полосой разочарования и одиночества, которая предваряет все большие события в жизни сердца. Давившее его, нерастраченное чувство давно ждало и с распростертыми объятиями кинулось навстречу первому, кто казался достойным его. Лежа в темноте, Эдгар был счастлив и взволнован; ему хотелось смеяться, но из глаз текли слезы. Он любил этого человека, как никогда не любил ни одного друга, ни отца, ни мать, ни даже бога. Вся незрелая страстность, скопившаяся за прежние годы, сосредоточилась на образе человека, имени которого он не знал еще два часа тому назад.

Но он был достаточно умен, и неожиданность и необычайность этой новой дружбы не могли не угнетать его. Особенно смущало его чувство своей недостойности и ничтожества. «Достоин ли я его, — я, двенадцатилетний мальчик, который должен ходить в школу, которого раньше всех посылают спать?, — задавал он себе мучительные вопросы. — Чем я могу быть для него, что я могу ему дать?» Это мучительное сознание бессилия выразить свое чувство делало его несчастным. Обычно, полюбив кого-нибудь из товарищей, он, прежде всего, делил с ним драгоценности своего письменного стола — камни или марки — свои детские богатства; но все эти вещи, еще вчера представлявшие для него чрезвычайную ценность, теперь сразу показались ему ничтожными, ненужными и достойными презрения. Мог ли он предложить их своему новому другу, к которому он даже не смел обратиться па

«ты»? Есть ли путь, есть ли возможность выразить ему свои чувства? Он все больше мучился сознанием своей незрелости; сознанием, что он еще не настоящий человек, а только двенадцатилетний ребенок. Никогда он не проклинал так бурно свой детский возраст, никогда не испытывал такой жажды проснуться иным, — каким он видел себя во сне: большим и сильным, мужчиной, взрослым, как все.

Эти тревожные мысли переплетались с первыми яркими снами о новом мире мужчины. Эдгар, наконец заснул с улыбкой на устах; но мысль о завтрашней встрече прерывала его сон. Он вскочил уже в семь часов, боясь опоздать. Поспешно оделся, поздоровался с удивленной матерью, которая обычно не могла поднять его с постели, и, не отвечая на ее вопросы, побежал вниз. До десяти часов он нетерпеливо бродил, забыв о завтраке, занятый одной мыслью — не заставить ждать своего друга.

В половине десятого барон, наконец, спустился, не торопясь. Он, конечно, давно забыл о данном обещании, но теперь, когда мальчик так жадно поспешил к нему, он улыбнулся избытку его страстности и выразил готовность сдержать свое слово. Он снова взял мальчика под руку, прошелся с ним, сияющим от счастья, взад и вперед, однако, отказался — мягко, но решительно — предпринять сейчас же совместную прогулку. Он как будто чего-то ждал, судя по взглядам, которые он нервно бросал на входную дверь. Вдруг он насторожился. Мать Эдгара вошла и, отвечая на поклон, с приветливым видом направилась к ним. Она одобрительно улыбнулась, услышав о предполагаемой прогулке, о которой Эдгар не рассказал ей, как о чем-то слишком интимном, и сразу согласилась на приглашение барона принять в ней участие.

Эдгар нахмурился и кусал губы. Как досадно, что она должна была войти как-раз в эту минуту! Эта прогулка

всецело принадлежала ему: если он и представил своего друга маме, то это была лишь любезность с его стороны, а уступать его он не намерен. Видя внимание барона к его матери, он испытывал уже нечто вроде ревности.

Они отправились на прогулку втроем, и чрезвычайный интерес, который оба взрослых спутника уделяли ребенку, поддерживал в нем опасное сознание собственной ценности и внезапной важности. Эдгар был почти исключительным предметом их беседы: мать с несколько преувеличенной озабоченностью говорила о его бледности и нервности, а барон, с своей стороны, возражал ей, улыбаясь, и рассыпался в похвалах о своем «друге», как он его называл. Это был лучший час в жизни Эдгара. Ему предоставлялись права, которыми он никогда не пользовался в детстве. Он мог принимать участие в разговоре, не получая за это замечаний, и даже выражать смелые пожелания, о которых он до сих пор не позволил бы себе заикнуться. Неудивительно, если в нем с каждой минутой разрасталось обманчивое чувство, что он уже взрослый. Детство в его радужных мечтах оставалось уже позади, как сброшенное платье, из которого он вырос.

За обедом, следуя приглашению все более и более любезной матери Эдгара, барон сидел за их столом. Визави обратился в соседа, знакомый — в друга. Трио было налажено, и три голоса — женский, мужской и детский — звучали в полной гармонии.

АТАКА

Нетерпеливому охотнику уже казалось, что настало время подкрасться к дичи. Семейственное тройственное созвучие в этом деле перестало ему нравиться. Болтать втроем было довольно приятно, но, в конце-концов, не болтовня же была его целью. Он знал, что салонный тон с неизбежной

маскировкой желаний всегда задерживает эротическую игру между мужчиной и женщиной, лишает слова горячности и натиск — пламенности. Она не должна была за беседой забывать об его истинных намерениях, которые — он знал это наверное — были ею поняты.

Было много шансов, что его ухаживания за этой женщиной увенчаются успехом. Она была в тех решительных годах, когда женщина начинает раскаиваться в том, что оставалась верна мужу, которого она, в сущности, никогда не любила, и когда пурпуровый закат ее красоты еще позволяет ей в последний раз сделать выбор между материнством и женственностью. Жизнь, которая, казалось, давно нашла свое разрешение, в эту минуту еще раз поставлена перед вопросом; в последний раз магнит воли колеблется между эротическим соблазном и полным самоотречением. Женщине предстоит трудный выбор — жить своей личной жизнью или жизнью своих детей, быть женщиной или матерью. И барон, проникательный в такого рода вещах, подметил у нее как-раз это опасное колебание между жаждой жизни и самоотречением. Она постоянно забывала в разговоре о своем муже, который, видимо, удовлетворял лишь ее внешние потребности, но не ее снобизм, воспитанный светским образом жизни; она чрезвычайно мало была посвящена во внутреннюю жизнь своего ребенка. Тень скуки, отражаясь меланхолией в ее темных глазах, расстилалась над ее жизнью и заволакивала ее чувственность. Барон решил быстро идти к цели, избегая вместе с тем всякого подозрения в поспешности. Напротив, как рыболов, который приманивает добычу, отдергивая крючок, он хотел этой новой дружбе противопоставить внешнее равнодушие, хотел заставить добиваться себя, — в то время как, в действительности, он вел наступление. Он решил утрировать известное высокомерие, резко под-

черкнуть различие в социальном положении. Его привлекала мысль — овладеть этим прекрасным телом при помощи чисто внешних качеств — звучной фамилии и холодности обращения.

Игра начинала уже серьезно волновать его, — и он насторожился. Послеобеденные часы он провел у себя в комнате, в приятном сознании, что его отсутствие будет замечено. Оно не произвело особенно сильного впечатления на ту, для кого оно было инсценировано, но бедный мальчик буквально измучился. Эдгар чувствовал себя целый день бесконечно беспомощным и потерянным. С упорной, свойственной мальчикам верностью, все эти долгие часы он неустанно поджидал своего друга.

Уйти или заняться чем-нибудь в одиночестве казалось ему преступлением против дружбы. Он болтался без всякого дела в коридорах и с каждым часом чувствовал себя все более несчастным. Его беспокойное воображение навело его на мысль о каком-нибудь несчастье или невольном нанесенном оскорблении; он готов был расплакаться от негерпения и страха.

Когда барон явился вечером к столу, ему был оказан блестящий прием. Эдгар, не взирая на укоризненный зов матери и удивление посторонних, бросился к нему навстречу и бурно обнял худенькими ручонками его грудь. — Где вы были? Где вы были? — поспешно говорил он. — Мы искали вас всюду. — Мать покраснела при этом нетактичном включении ее особы и сказала довольно строго: — *Sois sage, Edgar! Assieds-toi!* ¹ — (Она всегда говорила с ним по-французски, хотя владела этим языком далеко не в совершенстве и при более подробных объяснениях легко садилась на мель). Эдгар повиновался, но не переставал расспрашивать барона.

¹ Будь благоразумным, Эдгар! Сядь на место! — *Прим. перев.*

— Не забывай, что барон может делать, что ему угодно. Может быть, ему было скучно в нашем обществе.— На этот раз она сама говорила от имени обоих, и барон с радостью почувствовал, что этот упрек содержит вызов на комплимент.

Охотник пробудился в нем. Он был опьянен, взволнован; так быстро был найден след, и дичь всего на шаг от выстрела. Его глаза заблестели, кровь кипела, речь лилась свободно, он сам не знал как, с его уст. Как всякий мужчина, склонный к эротике, он становился вдвойне добрее, вдвойне самим собой, как только замечал, что нравится женщинам. Так многие актеры испытывают вдохновение только тогда, когда чувствуют, что всецело завладели зрителями — всей этой массой тяжело дышащих, превращенных в слух людей. Он всегда был хорошим рассказчиком и владел чувственными образами, но сегодня — он выпил несколько бокалов шампанского, заказанного в честь новой дружбы — он превзошел самого себя. Он рассказывал об индийских охотах, в которых он принимал участие, будучи в гостях у одного из самых аристократических английских друзей. Он обдуманно выбрал эту тему, — как будто безразличную; он чувствовал, что эту женщину волнует все экзотическое и для нее недоступное. Эдгара же он пленил окончательно: его глаза сверкали от восторга. Он не ел и не пил, жадно ловя слова с уст рассказчика. Он никогда не думал, что увидит наяву человека, в действительности пережившего все эти невероятные приключения, о которых он читал в книгах, — человека, который охотился на тигров, видел темнокожих людей-индусов и Джаггернаур — ужасную колесницу, которая похоронила под своими спицами тысячи людей. До сих пор он не верил, что есть на свете такие люди, как не верил в существование сказочных стран, и эти минуты впервые пробудили в нем какое-то великое чув-

ство. Он не сводил глаз с своего друга; затаив дыхание, смотрел на его сильные руки, убившие тигра. Он еле осмеливался обратиться к нему с вопросом, и голос его звучал лихорадочным волнением. Его живое воображение все время рисовало ему картины к этим рассказам. Он видел своего друга восседающим на слоне, покрытом пурпурным чепраком, справа и слева темнокожие люди в великолепных тюрбанах, — и вдруг из джунглей выскакивает тигр с оскаленными зубами и ударяет лапой в хобот слона. Барон рассказывал теперь еще более интересные вещи, — к каким хитростям прибегают при охоте на слонов: старых, ручных животных заставляют завлекать молодых, диких и резвых, в загороженные ловушки. Глаза мальчика загорелись. И вдруг — ему показалось, что нож, сверкая, упал к его ногам — мама проговорила, указывая на часы:

— Neuf heures! Au lit! ¹.

Эдгар побледнел от ужаса. Для всех детей слова «иди спать» ужасны; в них явное унижение перед взрослыми, клеймо детскости, младенчества, детской потребности в сне. Но во сколько раз убийственнее был этот позор сейчас, в самый интересный момент, когда он должен был отказаться от таких необычайных вещей!

— Еще минутку, мама, позволь мне послушать про слонов.

Он хотел начать клянчить, но сейчас же вспомнил о своем новом достоинстве взрослого. Он решил лишь на одну попытку. Но мама была сегодня особенно строга:

— Нет, уже поздно. Иди наверх. Sois sage, Edgar. Я тебе все подробно расскажу, что будет говорить барон.

Эдгар медлил. Обычно мать укладывала его. Но он не настаивал, не желая унижаться перед другом. Детская гордость хотела сохранить хотя бы видимость добровольного ухода.

¹ Девять часов! Спать пора! — *Прим. перев.*

— Но, мама, ты в самом деле расскажешь мне все все? О слонах и обо всем остальном?

— Да, дитя мое.

— И сейчас же? Сегодня же?

— Да, да, но теперь иди спать. Иди.

Эдгар сам был удивлен тем, что ему удалось, не покраснев, подать руку барону и маме, хотя рыдания уже сдавливали ему горло. Барон дружески взъерошил ему волосы, и это еще вызвало улыбку на его напряженном лице. Но затем ему нужно было поторопиться уйти: иначе они увидали бы, как крупные слезы потекли по его щекам.

СЛОНЫ

Мать оставалась еще некоторое время внизу, за столом, с бароном, но разговор о слонах и охоте прервался. Какая-то тяжесть, какое-то все возрастающее смущение возникло в их беседе, как только мальчик ушел. Наконец, они перешли в зал и уселись в уголке. Барон был острей, чем когда-либо, она сама была слегка разгорячена несколькими бокалами шампанского, и их разговор сразу принял опасный характер. Барона нельзя было назвать красивым; но он был молод, его смуглое энергичное, мальчишеское лицо с коротко стриженными волосами глядело мужественно, и он пленял ее своими сильными, почти резкими движениями. Она теперь с удовольствием смотрела на него вблизи и больше не боялась его взгляда. Но в его речи постепенно закрадывалась смелость, несколько смущавшая ее, как будто он прикасался к ее телу, — какое-то неуловимое вожделение, которое заставляло ее краснеть. Потом он снова смеялся легко, непринужденно, по-мальчишески, и это сообщало всем этим маленьким нескромностям характер детской шутки. Ей иногда казалось,

что она должна бы его строго остановить, но она была кокетка по природе, и это легкое вожделение волновало ее и заставляло выжидать. Увлеченная этой опасной игрой, она, в конце концов, даже пробовала подражать ему. Она бросала на него слегка обещающие взгляды, в словах и в движениях уже отдавалась ему, допускала даже его близость и ощущала на своем плече теплое и вздрагивающее дыхание его голоса. Подобно всем игрокам, они не заметили, как пролетело время, и, увлеченные своим жгучим разговором, опомнились только в полночь, когда в зале начали гасить огни.

Она вскочила, повинувшись первому испугу, и сразу почувствовала, как безумно далеко она зашла. Игра с огнем не была для нее новинкой, но теперь пробудившимся инстинктом она почуяла, насколько эта игра была серьезна. С ужасом она открыла, что теряла уверенность в себе, что почва ускользает из-под ног и она втягивается в опасный водоворот. Голова кружилась от испуга, вина и горячих речей; глупый, бессмысленный страх овладел ею — страх, который она испытывала несколько раз в своей жизни в такие опасные минуты, но никогда с такой головокружительной силой.

— Спокойной ночи, спокойной ночи. До завтра, — проговорила она, готовясь убежать. Убежать не столько от него, сколько от опасности этой минуты и новой, странной неуверенности в самой себе. Но барон, с мягкой настойчивостью удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее, и не один раз, как требует вежливость, а несколько раз — от тонких кончиков пальцев до сгиба кисти, и она с легкой дрожью почувствовала на своей руке щекочущее прикосновение его жестких усов. Какое-то горячее и щемящее чувство разлилось по всему ее телу, страх обуял ее, угрожающе стучало в висках, голова

горела; страх, бессмысленный страх, охватил ее всю, и она быстро отдернула руку.

— Не уходите, — прошептал барон.

Но она уже убегала с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Ею овладело волнение, которого он добивался; она чувствовала, что в ней все смешалось. Ее гнал жестокий, жгучий страх, — что он может поймать и завладеть ею, — и тут же сожаление, что он этого не сделал. В этот час могло бы случиться то, чего она ждала годами, сама того не сознавая: увлечение, о котором она всегда мечтала сладострастно, но от которого всегда убегала в последнюю минуту, — глубокое и опасное переживание, а не мимолетный, раздражающий флирт. Но барон был слишком горд, чтобы воспользоваться удобным моментом. Он был слишком уверен в победе, чтобы взять эту женщину насильно, в минуту слабости и опьянения; страстного игрока привлекала только борьба: она должна ему отдаться с полным сознанием. Ускользнуть от него она не могла. Он видел, что жгучий яд уже разлился по ее жилам.

На лестнице она остановилась, прижав руку к бьющемуся сердцу. Она должна была передохнуть. Нервы были напряжены до крайности. Из груди вырвался вздох наполовину облегчения, наполовину сожаления; но ощущения ее были смутны и отдавались в ней легким головокружением. С полузакрытыми глазами, как пьяная, она добралась до своей комнаты и вздохнула свободно лишь тогда, когда схватилась за холодную ручку двери. Только теперь она чувствовала себя вне опасности!

Тихо открыла она дверь и сейчас же испуганно отшатнулась. В темноте что-то зашевелилось в глубине комнаты. Нервы ее дрогнули, и она была готова позвать на помощь, когда раздался тихий, сонный голос:

— Это ты, мама?

— Ради бога, что ты здесь делаешь? — Она бросилась к дивану, где лежал, свернувшись, Эдгар. Ее первой мыслью было, что ребенок заболел или нуждается в помощи.

Но Эдгар, совершенно сонный, сказал с легким упреком:

— Я так долго ждал тебя, а потом заснул.

— Зачем же ты ждал меня?

— А слоны?

— Какие слоны?

Теперь только она поняла. Она ведь обещала ему еще сегодня рассказать все «об охоте и приключениях». И мальчик прокрался в ее комнату, этот глупый мальчик, и заснул, доверчиво ожидая ее возвращения. Этот своевольный поступок возмутил ее. Или скорее она сердилась на себя, в ней зашевелилось чувство стыда и вины, которое она хотела заглушить.

— Иди сию минуту спать, негодный мальчишка! — крикнула она. Эдгар смотрел на нее с изумлением. Почему она так сердится на него, — ведь он ничего не сделал? Но его удивление еще больше раздражало возбужденную мать.

— Иди сейчас же к себе в комнату! — кричала она в бешенстве, чувствуя, что была неправа.

Эдгар ушел, не говоря ни слова. Он ужасно устал и, сквозь давивший его сонный туман, глухо чувствовал, что его мать не сдержала слова и что с ним поступили нехорошо. Но он не спорил. Все в нем отупело от усталости. Кроме того, он очень сердился на себя за то, что заснул здесь, вместо того чтобы дожидаться матери. «Совсем как ребенок», говорил он себе возмущенно, прежде чем заснуть окончательно.

Со вчерашнего дня он ненавидел свое детство...

ЦЕРЕСТРЕЛКА

Барон плохо спал эту ночь. Всегда опасно ложиться в постель после прерванного приключения: беспокойная

почь, полная тяжелых снов, заставила его пожалеть об упущенном моменте. Когда утром, сонный и мрачный, он спустился вниз, мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу, восторженно обнял его и замучил его вопросами. Он был счастлив хоть на минуту всецело завладеть своим взрослым другом, не разделяя его с матерью. Пусть он рассказывает только ему, а не маме, умолял он; она не сдержала слова и ничего ему не рассказала о всех чудесах. Он засыпал застигнутого врасплох барона, не скрывавшего своего дурного настроения, сотней навязчивых детских вопросов. К ним он примешивал бурные изъятия своей любви, счастливый этим долгожданным свиданием наедине.

Барон отвечал нецарветливо. Это вечное выслеживание, глупые вопросы мальчика и его чрезмерная страстность становились ему в тягость. Он устал изо дня в день возиться с двенадцатилетним мальчуганом и болтать чепуху. Его единственная цель теперь—ковать железо, пока горячо, и застигнуть мать одну, а это становилось нелегкой задачей, благодаря постоянному присутствию мальчика. Впервые им овладело недовольство этой неосторожно разбуженной нежностью, но пока он не видел возможности отделаться от чересчур привязчивого друга.

Все же надо было попытаться. До десяти часов, когда у него была условлена прогулка с матерью, он терпел оживленную болтовню мальчика, не обращая на него внимания; просматривая газету, он лишь изредка вставлял слово, чтобы не обидеть его. Наконец, когда часовая стрелка стояла почти вертикально, он, как бы спохватившись, попросил Эдгара сходить напротив в другую гостиницу и узнать, не приехал ли его кузен, граф Грундгейм.

Ничего не подозревая, мальчик, счастливый, что может наконец услужить своему другу, гордясь званием посланца,

сейчас же сорвался с места и побежал по дороге, как сумасшедший, так что прохожие удивленно смотрели ему вслед. Но ему хотелось показать, как проворно он исполняет данные ему поручения. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и пока даже не давал знать о себе. С этим известием он прибежал в том же бешеном темпе. Но барона в зале не было. Он постучал к нему в комнату—тишина. Он обегал в тревоге все помещения, концертную комнату, кафе; взволнованный, он бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее: ее тоже не было. Швейцар, к которому он обратился в отчаянии, сказал, к крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе.

Эдгар ждал терпеливо. В своей простоте он не подозревал ничего дурного. Он был уверен, что они скоро вернутся,—ведь барону нужно было получить ответ. Но проходили часы,—им овладело беспокойство. Вообще, с того дня как этот чужой, обольстительный человек вторгся в его маленькую, беззаботную жизнь, мальчик был напряжен, смущен, почти затравлен. В хрупком, детском организме всякая страсть оставляет след, как на мягком воске. Нервное вздрагивание тела возобновилось, он побледнел. Эдгар ждал и ждал — сперва терпеливо, потом в диком волнении и, наконец, едва удерживаясь от рыданий. Но он все еще ничего не подозревал. Его слепая вера в этого чудного друга предполагала какое-нибудь недоразумение, и его мучил тайный страх, что он не понял данного ему поручения.

Но как странно ему показалось, что, наконец, вернувшись, они продолжали весело разговаривать и не выразили ни малейшего удивления. Как будто они совершенно не заметили его отсутствия.

— Мы пошли тебе навстречу, Эди, и думали встретить тебя по дороге, — сказал барон, не интересуясь данным

поручением. И когда мальчик, испугавшись, что они напрасно его искали, начал уверять, что он бежал прямым путем по Гохштрассе, и стал расспрашивать, в каком направлении шли они, мама оборвала разговор словами:

— Будет, будет, детям не следует много болтать.

Эдгар покраснел от досады. Это была уже вторая попытка унижить его в глазах друга. Для чего она это делала? Зачем она так старалась представить его ребенком, которым — в этом он не сомневался — он перестал быть? Очевидно, она завидовала ему и намеревалась отнять у него друга. И это, наверное, она нарочно повела его по другой дороге. Но он не допустит, чтобы с ним так обращались, — он ей это докажет. И Эдгар решил ни слова не говорить с ней сегодня за столом и обращаться только к другу.

Но эта уловка не удалась. Случилось то, чего он меньше всего ожидал: его борьба осталась незамеченной. Да, они его как будто не замечали; еще вчера он был в центре их внимания, теперь они разговаривали между собой, шутили, смеялись, как будто бы он сидел под столом. Кровь бросилась ему в лицо, клубок подступал к горлу, дыхание стеснилось. С ужасом он понял свое бессилие. Он осужден спокойно сидеть и наблюдать, как мать отнимает у него друга — единственного человека, которого он любил, — и выражать свой протест одним только молчанием. Ему казалось, что он должен вскочить и застучать кулаками по столу. Только для того, чтобы они заметили его присутствие. Но он сдержался, положил нож и вилку и не дотронулся до еды. Однако, и этот упорный пост долго оставался незамеченным, и только, когда подали последнее блюдо, мать обратила внимание и спросила его, не болен ли он. «Противно, — подумал он, — у нее только одна мысль,

не болен ли я, все остальное ее не касается». Он коротко ответил, что у него нет аппетита, и она этим удовлетворилась. Ничем, решительно ничем он не мог привлечь к себе внимание. Барон как будто совершенно забыл о нем; по крайней мере, он ни разу не обратился к нему. Что-то горячее закипало у него в глазах, и ему пришлось прибегнуть к детской хитрости — нагнуться за брошенной на пол салфеткой, чтобы скрыть слезы, которые потекли из глаз, оставляя на губах соленый след. Наконец, обед кончился, и он вздохнул свободно.

Во время обеда мать предложила совместную поездку в Мариа-Шуц. Эдгар закусил губы. Ни на минуту она не хотела оставить его наедине с другом. Но дикая ненависть поднялась в нем, когда она сказала, вставая из-за стола:

— Эдгар, ты забудешь все, что проходили в школе, ты бы посидел немного дома и позанимался.

Снова детская рука сжалась в кулак. Она не переставала унижать его перед другом, все время напоминала, что он еще ребенок, что он должен ходить в школу и что его только терпят среди взрослых. Но на этот раз ее намерение показалось ему чересчур прозрачным. Он не ответил и только отвернулся.

— Опять он обижен, — проговорила она, улыбаясь и обращаясь к барону. — Неужели так ужасно посидеть часок за работой?

И вот — сердце как будто заглохло и остановилось — барон, называвший себя его другом, еще так недавно смеявшийся над его домоседством, сказал:

— Ну, позаниматься часок-другой было бы не вредно.

Что это, уговор? Неужели они оба в союзе против него? Гневно сверкнули глаза ребенка.

— Папа запретил мне заниматься. Папа хочет, чтобы я здесь поправлялся, — бросил он, со всею гордостью своей

болезни, в отчаянии цепляясь за авторитет отца. Он произнес это, как угрозу. И удивительно: эти слова произвели на обоих неприятное впечатление. Мать отвернулась и нервно забарабанила пальцами по столу. Наступило неловкое молчание.

— Как хочешь, Эди, — сказал, наконец, барон, принужденно улыбаясь. — Мне экзаменов не сдавать, я давно провалился по всем предметам.

Но Эдгар не улыбнулся этой шутке, а посмотрел на него таким испытующим, пронизательным взглядом, как будто хотел заглянуть ему в душу. Что случилось? Что-то изменилось в их отношениях, и ребенок не мог понять причины. Беспокойно блуждали его глаза. В его сердце быстро стучал маленький молоток: в нем пробудилось первое подозрение.

ЖГУЧАЯ ТАЙНА

«Что с ними произошло? — размышлял мальчик, сидя против них в быстро катящейся коляске. — Почему они со мной не такие, как были раньше? Почему мама избегает моего взгляда, когда я смотрю на нее? Почему он все шутит со мной и валяет дурака? Они не разговаривают со мной как вчера и позавчера. Мне кажется даже, что у них совсем другие лица. У мамы такие красные губы, — верно, она их накрасила. Этого я никогда не замечал у нее. А он все морщит лоб, как будто чем-то обижен. Ведь я им ничего не сделал, не сказал ни слова. Чем же я мог их огорчить? Нет, не во мне причина, они сами не такие друг с другом, как были раньше. Как будто они затеяли что-то, чего не решаются сказать. Они не разговаривают так просто, как вчера, не смеются, они смущены, они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдать. Тайна, которую я

должен раскрыть во что бы то ни стало. Я знаю: это, должно быть, то же самое, перед чем они всегда закрывают двери от меня, о чем пишут в книгах и поют в операх, когда женщины и мужчины с распростертыми объятиями приближаются друг к другу, обнимаются или отталкивают друг друга. Должно быть, это похоже на то, что произошло между моей француженкой и папой, с которым она не поладила, и тогда ей отказали. Все это как-то связано, я чувствую это, но не знаю как. О, я должен все узнать, проникнуть, наконец, в эту тайну, завладеть ключом, который откроет все двери, перестать быть ребенком, от которого все прячут и скрывают, не давать больше себя обманывать. Теперь или никогда! Я должен вырвать у них эту тайну, эту ужасную тайну!»

На лбу его прорезалась морщина. Этот худенький двенадцатилетний мальчик, застывший в глубоком раздумьи, выглядел почти стариком. Он не обращал внимания на ландшафт, расстилавшийся в ярких красках, на горы, покрытые свежей зеленью сосновых лесов, на долины, в нежном блеске запоздалой весны. Он видел только сидящих против него в коляске. Он как будто хотел своими горячими взорами, как крючком, выудить тайну из глубины их сверкающих глаз. Ничто так не изошряет ум, как страстное подозрение, ничто не развертывает в такой полноте все возможности незрелого рассудка, как след, ведущий во мрак. Иногда одна тонкая дверь отделяет детей от мира, который мы называем действительностью, и случайный ветерок может распахнуть ее перед ними.

Эдгар сразу почувствовал себя в такой непосредственной близости к неизвестному, к великой тайне, как никогда; он осязал ее, пока еще не открытую, не разгаданную, но совсем, совсем близкую. Это волновало его и сообщало ему эту внезапную торжественную серьезность.

Бессознательно он угадывал, что он стоит на рубеже своего детства.

Сидя против него, они чувствовали перед собой какое-то глухое сопротивление, не догадываясь, что оно исходит от мальчика. Им было тесно и недовко втроем в коляске. Пара глаз, сверкавшая против них, своим мрачным огнем стесняла их. Они почти не решались говорить, не решались смотреть друг на друга. К прежней легкой салонной беседе путь был закрыт, они слишком втянулись в тон горячей интимности, в тон опасных слов, в которых дрожит ласкающая нескромность тайных прикосновений. Их разговор все время прерывался и, возобновляясь, всякий раз натывался на упорное молчание мальчика.

Особенно тягостно было его мрачное молчание для матери. Она осторожно взглянула на него со стороны и испугалась, впервые заметив в манере мальчика закусывать губы сходство с мужем в минуты раздражения или досады. Мысль о муже была ей особенно неприятна как-раз теперь, когда она была на пороге приключения. Призраком, блюстителем совести, вдвойне невыносимым здесь, в тесноте коляски, в десяти дюймах от нее, казался ей мальчик со своим бледным лбом и темными глазами, за которыми скрывалось напряженное внимание. Вдруг Эдгар на мгновение поднял глаза. И оба сейчас же опустили взоры: в первый раз в жизни они почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они слепо доверяли друг другу, но теперь что-то произошло между матерью и сыном, что-то изменилось в их отношениях. В первый раз в жизни они стали наблюдать друг за другом, разделять свою судьбу — оба с затаенной ненавистью, столь новой для них, что они не решались в ней сознаться.

Все трое облегченно вздохнули, когда лошади остановились перед гостиницей. Они чувствовали, что прогулка

не удалась, но никто не решался сказать этого. Эдгар первый выпрыгнул из коляски. Его мать, под предлогом головной боли, поспешно пошла к себе наверх. Она устала и хотела остаться одна. Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в зал, не обращая внимания на мальчика. Повернувшись к нему своей стройной спиной, он прошел мимо него легкой, ритмически покачивающейся походкой, которая так пленяла Эдгара и которой он пытался уже подражать вчера. Он прошел мимо него, не говоря ни слова. Очевидно, он забыл о мальчике, оставил его стоять рядом с кучером, рядом с лошадьми, как будто ему нет до него никакого дела.

У Эдгара что-то оборвалось, когда он увидел его так равнодушно проходящим мимо, — его, которого он, несмотря ни на что, все еще обожал. Отчаяние охватило его, когда барон прошел, не задев его плащом, не обмолвившись словом. — За что? Он не сознавал за собой никакой вины. Самообладание, стоившее ему такого труда, изменило ему; искусственно поддерживаемая тяжесть достоинства спала с его узких плеч, и опять он стал ребенком — маленьким, смиренным, каким был вчера и прежде. Он, против воли, уступил непреодолимому порыву. Дрожащими, быстрыми шагами он пошел за бароном, загородил ему путь к лестнице и сказал сдвинутым голосом, с трудом сдерживая слезы:

— Что я вам сделал, что вы не обращаете на меня внимания? Почему вы так изменились ко мне? И мама тоже. Почему вы стараетесь отсылать меня? Разве я вам в тягость, или я в чем-нибудь провинился?

Барон испугался. В голосе ребенка было что-то, что его смутило и смягчило. В нем зашевелилось сострадание к невинному мальчику.

— Эди, ты дурачок! Просто я был сегодня в дурном настроении. А ты милый мальчик, которого я люблю. — Он потрепал ему вихор, но отвернулся, чтобы избежать взгляда этих больших, влажных, молящих детских глаз. Комедия, которую он разыгрывал, начинала его тяготить. Ему стало стыдно, что он так цинично играл любовью этого ребенка, и этот тонкий, вздрагивающий от затаенных рыданий голос причинял ему боль. — Иди наверх, Эди, сегодня вечером мы опять поладим, ты увидишь, — сказал он примирительно.

— И вы не позволите маме посылать меня спать? Правда?

— Нет, нет, Эди, я этого не допущу, — улыбнулся барон. — Теперь иди наверх, я должен одеться к ужину.

Эдгар ушел, на минуту счастливый. Но скоро в его сердце опять застучал молоток. Со вчерашнего дня он стал старше на несколько лет; неведомый гость — недоверие — крепко засел в его детской груди.

Эдгар ждал. Это было решительное испытание. Они сидели вместе за столом. Было девять часов, но мать не посылала его спать. Он стал беспокоиться, почему она, забыв о своей обычной пунктуальности, позволяла ему сегодня так долго оставаться внизу? Неужели барон передал ей его желание и весь разговор с ним? Им овладело жгучее раскаяние, когда он вспомнил, как он бежал за ним сегодня, чтобы раскрыть ему свое сердце. В десять часов мать вдруг поднялась и простилась с бароном. И странно: казалось, что он не был удивлен этим ранним уходом и не старался удержать ее, как обычно. Все сильнее стучал молоточек в груди мальчика.

Наступил решительный момент. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но дойдя до двери, он вдруг поднял глаза. И в эту минуту он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через

его голову в сторону барона, — взгляд, изобличавший тайное соглашение. Итак, барон предал его. Вот чем объясняется этот ранний уход: его надо сегодня убаюкать, внушить ему доверие, чтобы он не мешал им завтра.

— Негодяй, — пробормотал он.

— Что ты говоришь? — спросила мать.

— Ничего, — процедил он сквозь зубы. Теперь и у него есть своя тайна. Имя ей — ненависть, безграничная ненависть к ним обоим.

МОЛЧАНИЕ

Беспокойство Эдгара улеглось. Наконец, он обрел определенность и ясность чувств: ненависть и открытая вражда. Теперь, когда он убедился в том, что он им мешает, быть в их обществе стало для него изысканным и жестоким наслаждением. Он упивался мыслью, что мешает им, что может, наконец, выступить против них во всеоружии своей вражды. Сначала он показал зубы барону. Когда тот утром спустился вниз и, проходя мимо, обратился к нему с любезным приветствием: — Мое почтение, Эди, — Эдгар, не глядя на него и не вставая с кресла, сухо ответил ему: — Доброе утро, — а на вопрос: — Мама уже внизу? — не отрывая глаз от газеты, сказал: — Не знаю.

Барон был изумлен: что с ним случилось? — Ты плохо спал, что ли, Эди? — Шутка, как всегда, должна была спасти положение. Но Эдгар презрительно бросил: — Нет, — и опять углубился в газету. — Глупый мальчишка, — пробормотал барон, пожал плечами и пошел дальше. Война была объявлена.

По отношению к матери Эдгар был холоден, но вежлив. Неловкая попытка послать его играть в теннис потерпела неудачу. Его горькая улыбка в углах крепко стиснутых,

слегка искривленных губ показывала, что обмануть его больше не удастся. — Лучше я пойду с вами гулять, мама, — сказал он с притворной нежностью и заглянул ей в глаза. Было заметно, что ответ ей не понравился. Она медлила и, казалось, чего-то искала. — Подожди меня здесь, — решила она, наконец, и пошла завтракать.

Эдгар ждал. Но его недоверие было разбужено. Беспокойным инстинктом он подозревал в каждом их слове какое-то скрытое враждебное намерение. Подозрение внушало ему теперь удивительно проницательные решения. И, вместо того чтобы ждать на галлерее, как ему было указано, Эдгар предпочел установить наблюдательный пост на улице, откуда он мог следить не только за главным подъездом, но и за всеми остальными выходами. Инстинктивно он чуял обман. Но он не даст им ускользнуть. На улице он спрятался за дровами — совсем так, как читал в индейских рассказах. Он с удовлетворением улыбнулся, увидав через полчаса, что мать его действительно выходит из боковой двери, с букетом роскошных роз в руках и в сопровождении предателя-барона.

Оба казались очень веселыми. Они, верно, свободно вздохнули, ускользнув от него и оставшись наедине со своей тайной. Они разговаривали, смеясь, и собирались повернуть на лесную дорогу.

Наступил решительный момент. Спокойно, как будто случай завел его сюда, Эдгар вышел из-за кучи дров. Он медленно приблизился к ним, оставляя себе достаточно времени насладиться их смущением. Они в изумлении переглянулись. Не спеша, точно его участие в прогулке разумелось само собой, он подошел к ним, не спуская с них насмешливого взгляда.

— А, вот и ты, Эди, мы тебя искали, — проговорила мать. «Врет и не краснеет», подумал мальчик. Но губы

его не разомкнулись. Тайну ненависти он крепко держал за стиснутыми зубами.

В нерешимости они стояли на дороге. Каждый следил за обоими другими. — Ну, идем, — покорно сказала рассерженная мать, обрывая лепестки прекрасной розы. Легкое вздрагивание ноздрей выдавало ее гнев. Эдгар стоял, как будто это его не касалось, смотрел по сторонам, ждал, чтобы они двинулись, и приготовился идти за ними. Барон сделал еще одну попытку: — Сегодня теннисный турнир. Тебе не интересно посмотреть? — Эдгар ответил презрительным взглядом — он с ним больше не разговаривал — и только сложил губы, как будто собирался свистнуть. Это был его ответ. Его ненависть показывала зубы.

Присутствие мальчика невыносимой тяжестью давило их. Так ходят арестанты за своим сторожем, тайком сжимая кулаки. В сущности, мальчик ничего не делал и все же с каждой минутой становился несноснее — со своими выслеживающими взглядами, влажными от сдерживаемых слез, со своей раздраженной угрюмостью, отталкивающей всякую попытку к сближению. — Иди вперед! — вдруг вспыхнула мать, которую нервировало его беспрестанное подслушивание. — Не болтайся под ногами, это мне действует на нервы. — Эдгар послушался, но через каждые несколько шагов он оборачивался, останавливался, когда они отставали, окидывая их взглядом Мефистофеля в образе пуделя и опутывая их огненной сетью ненависти, из которой — они чувствовали — им нет выхода.

Его озлобленное молчание отравляло их настроение, его желчный взгляд замораживал их разговор. Барон не решался более произнести ни одного смелого слова. Он со злобой чувствовал, что эта женщина ускользала от него, что с трудом разожженная в ней страсть охлаждалась в страхе перед этим надоедливым, противным мальчишкой.

Они пытались возобновлять беседу, — и каждый раз она обрывалась. Наконец, все трое, молча, шагали по дороге, прислушиваясь к шелесту деревьев и к собственным сердитым шагам. Мальчик задушил всякую возможность разговора.

Теперь все трое были охвачены раздражением и враждебностью. С наслаждением чувствовал обманутый мальчик, как бессилен их гнев, направленный против его существования, с которым они не хотели считаться. Насмешливо моргающим взглядом окидывал он по временам сердитое лицо барона. Он замечал, что барон едва удерживает поток ругательств, готовых сорваться с языка; и с демонической радостью он наблюдал за все возрастающей злостью матери; оба они явно ждали предложения наброситься на него, устранить его или усмирить. Но он не подавал ни малейшего повода. Его ненависть, взлелеянная долгими часами, не открывала уязвимых мест.

— Вернемся, — сказала вдруг мать. Она чувствовала, что дольше не выдержит, что она должна будет что-то сделать — по меньшей мере закричать от этой пытки.

— Как жалко, — спокойно сказал Эдгар, — здесь так хорошо.

Им обоим было ясно, что мальчик издевается над ними. Но они не решились ничего сказать, — так изумительно этот тиран научился за два дня владеть собою. Ни один мускул в его лице не выдал злой иронии. Не проронив ни слова во весь длинный путь, они вернулись домой. Ее раздражение долго не могло улечься; когда они уже очутились одни в комнате, она сердито бросила зонтик и перчатки. Эдгар сразу заметил, что ее нервы возбуждены и что это возбуждение ищет выхода. Но он добивался взрыва и нарочно не уходил, чтобы дразнить ее. Она ходила

взад и вперед по комнате, села, барабанила пальцами по столу, и, наконец, опять вскочила. — Какой ты растрепан, каким грязным ты бегаешь! Срам перед людьми! Как тебе не стыдно, в твоём возрасте! — Не возражая, мальчик пошел и причесался. Его молчание, его упорное, холодное молчание с дрожащей насмешкой на губах приводило ее в бешенство. Охотнее всего она бы его исколотила. — Иди в свою комнату! — крикнула она. Она больше не могла выносить его присутствия. Эдгар улыбнулся и ушел.

Как они оба дрожали теперь перед ним, как они боялись — барон и она — каждого часа в его обществе, боялись немилосердно жестокого выражения его глаз! Чем хуже они себя чувствовали, тем большее наслаждение светилось в его глазах и все более вызывающей становилась его радость. Эдгар мучил их, наслаждаясь их беспомощностью, с почти звериной жестокостью, свойственной детям. Барон еще сдерживал свой гнев, надеясь, что ему удастся перехитрить мальчика, и думал только о своей цели. Но мать то-и-дело теряла самообладание. Для нее было облегчением прикрикнуть на него. — Не играй вилок! — набросилась она на него за столом. — Ты невоспитанный мальчишка, тебя нельзя сажать со взрослыми! — Эдгар только улыбался — улыбался, слегка склонив голову набок. Он знал, что этот крик был криком отчаяния, и гордился тем, что они до такой степени выдавали себя. Его взгляд был теперь совершенно спокоен, как у врача. Прежде он, наверное, говорил бы дерзости, чтобы досадить ей; но ненависть быстро научает многому. Теперь он только молчал, молчал и молчал, — пока она не начинала кричать под гнетом его молчания.

Она дольше не могла сдерживаться. Когда они встали из-за стола и Эдгар все с той же прилипчивостью собрался следовать за ними, ее взорвало. Она забыла всякую

осторожность и швырнула ему в лицо всю правду. Выведенная из себя его неотступным присутствием, она встала на дыбы, как измученная мухами лошадь.

— Что ты все бегашь за мной, как трехлетний ребенок? Я не желаю, чтобы ты все время болтался у меня перед глазами. Детям не полагается быть со взрослыми. Запомни это! Займись сам собой, хоть на час. Читай или делай что хочешь. Оставь меня в покое! Ты действуешь мне на нервы с этим выслеживанием, с этой противной угрюмостью!

Наконец-то он вырвал у нее признание! Эдгар улыбнулся, в то время как барон и она были смущены. Она отвернулась и хотела уйти, раздосадованная, что созналась сыну в своей попытке. Но Эдгар холодно ответил:

— Папа не хочет, чтобы я оставался один. Я дал папе слово, что буду все время с тобой.

Он подчеркнул слово «папа», потому что уже прежде заметил, что оно действует на них угнетающе. Значит, отец имел какое-то отношение к этой жгучей тайне; видимо, папа имел над ними какую-то тайную власть, раз одно упоминание о нем причиняло им страх и неловкость. И на этот раз они опять ничего не ответили. Они сложили оружие. Мать пошла вперед, барон вместе с ней. Эдгар шел за ними, но не покорно, как слуга, а сурово и неумолимо, как страж. Незаметно он звенел цепью, которой они потрясали, но которую не могли разорвать. Ненависть закалила его детскую силу; непосвященный, он был сильнее тех, кому тайна сковывала руки.

ЛЖЕЦЫ

Но время не ждет. У барона оставалось не много дней, и надо было их использовать. Борьбa с упорством раздраженного мальчика — они сознавали — было бесполезно, и они прибегли к последнему, к самому постыдному сред-

ству — к бегству, — чтобы хоть на час или на два ускользнуть от его тирании.

— Огнеси эти заказные письма на почту, — сказала мать Эдгару. Они стояли в зале, барон на улице говорил с извозчиком.

С недоверием Эдгар взял эти письма; незадолго до того он заметил, что слуга передал матери какое-то поручение. Не затевают ли они оба чего-нибудь пртив него?

Он медлил. — Где ты будешь меня ждать?

— Здесь.

— Наверное?

— Да.

— Но ты не думай уходить. Значит, ты ждешь меня здесь, в зале, пока я не вернусь?

В сознании своего превосходства, он говорил с матерью уже повелительным тоном. С позавчерашнего дня многое изменилось.

Он отправился с письмами. У дверей он столкнулся с бароном. Он обратился к нему в первый раз за последние два дня.

— Я только сдам эти два письма. Мама будет ждать меня. Пожалуйста, не уходите раньше.

Барон быстро прошмыгнул мимо.

— Да, да, мы подождем.

Эдгар поспешил на почту. Ему пришлось ждать: господин, стоявший перед ним, задавал десятки скучных вопросов. Наконец, он исполнил поручение и побежал обратно с расписками. Он пришел как раз во-время, чтобы увидеть, как барон с его матерью уезжали на извознике.

Он был вне себя от бешенства. Он был готов поднять камень и бросить им вслед. Они все-таки улизнули от него! И такая подлая, такая низкая ложь! Что его мать лгала, он знал со вчерашнего дня. Но то, что она могла с таким

бесстыдством нарушить данное обещание, отняло у него последнюю каплю доверия к ней. Он перестал понимать жизнь, с тех пор как увидел, что слова, за которыми он до сих пор предполагал действительность, — не что иное, как мыльные пузыри. Но что это за ужасная тайна, которая доводит взрослых до того, что они лгут ему, ребенку, и убегают, как преступники? В книгах, которые он читал, люди убивали и обманывали, чтобы добыть деньги, или могущество, или царство. Но какая же тут причина? Чего они хотели, почему они прятались от него, что скрывали под этой грудой лжи? Он ломал себе голову. Смутно он сознавал, что эта тайна — замок детства; сломать его — значит стать взрослым, стать, наконец, мужчиной. О, только бы узнать ее! Но он не был в состоянии рассуждать. Злость, что они ускользнули от него, кипела в нем и лишала его рассудка.

Он побежал в лес, спасаясь в темноту, где его никто не видел, и там горячие слезы полились из его глаз. «Лжецы, собаки, обманщики, подлецы!» — выкрикивал он слова, которые иначе грозили его задушить. Злость, нетерпение, досада, любопытство, беспомощность и предательство последних дней, подавляемые детской борьбой и иллюзией своей взрослости, вырывались из груди и разрешились в слезах. Это были последние слезы его детства, последние неудержимые слезы; и последний раз он по-женски отдавался сладострастию слез. Он оплакивал в этот час неистовой ярости доверчивость, любовь, веру и уважение — все свое детство.

Мальчик, который возвращался теперь в гостиницу, был уже иной. Он был холоден и действовал предусмотрительно. Прежде всего он пошел к себе в комнату, тщательно вымыл лицо и глаза, не желая доставить им удовольствие видеть следы его слез. Затем он обдумал, как

свести с ними счета. Он ждал терпеливо, в полном спокойствии.

В зале было довольно много народу, когда коляска с бегледами остановилась у подъезда. Несколько мужчин играли в шахматы, другие читали газеты, дамы болтали. Среди них безучастно сидел бледный мальчик с дрожащими веками. Когда его мать и барон вошли, несколько смущенные его присутствием, и хотели пробормотать приготовленную отговорку, он спокойно пошел им навстречу и сказал вызывающим тоном:

— Господин барон, мне надо кое-что сказать вам!

Барону стало не по себе. Он чувствовал себя точно пойманным. — Хорошо, хорошо... потом... сейчас!

Но Эдгар повысил голос и сказал ясно и резко, так, чтобы все кругом могли расслышать:

— Я хочу поговорить с вами сейчас. Вы поступили подло. Вы мне солгали. Вы знали, что моя мать ждет меня, и вы...

— Эдгар! — крикнула мать, видя, что взоры присутствующих обращены на нее, и бросилась к нему.

Но мальчик, решив, что они хотят перекричать его, пронзительно завопил:

— Я повторяю вам еще раз при всех. Вы нагло солгали, и это низко, это подло!

Барон побледнел. Все смотрели на них, иные улыбались.

Мать схватила дрожащего от волнения мальчика за руку:

— Иди сейчас же к себе, или я поколочу тебя здесь, при всех! — пробормотала она хрипло.

Но Эдгар уже успокоился. Он жалел о своей вспышке и был недоволен собой: он хотел говорить с бароном спокойно, но бешенство оказалось сильнее его воли. Не торопясь, он направился к лестнице.

— Простите, барон, его невоспитанность. Вы знаете, какой он нервный! — бормотала она, смущенная насмешли-

выми взорами окружающих. Ничего на свете не было для нее ужаснее скандала, и она сознавала, что ей надо было сохранить достоинство. Вместо того, чтобы убеждать как можно скорее, она пошла к швейцару, спросила о письмах и еще о каких-то безразличных вещах и только затем, шелестя платьем, поднялась наверх, как будто ничего не произошло. Но за ее спиной слышался шопот и сдержанный смех.

Поднимаясь, она замедлила шаг. Она всегда была беспомощна в серьезных положениях и, в сущности, боялась предстоящего объяснения. Она не могла отрицать своей вины, и кроме того она боялась взгляда мальчика — этого нового, чужого, такого странного взгляда, который парализовал ее и лишал уверенности в себе. Из страха она решила действовать мягкостью. Она знала, что в случае борьбы раздраженный мальчик оказался бы более сильным.

Она тихо открыла дверь. Мальчик сидел, спокойный и холодный. В глазах, обращенных на нее, не было страха, не было даже любопытства. Он казался очень уверенным в себе.

— Эдгар, — начала она матерински нежно, — что тебе пришло в голову? Мне стыдно за тебя. Как можно быть таким невоспитанным! Ты — мальчик, и так разговариваешь со взрослыми! Ты должен сейчас же извиниться перед бароном.

Эдгар смотрел в окно. Его «нет» было как будто обращено к деревьям.

Его самоуверенность поразила ее.

— Эдгар, что с тобой случилось? Ты совсем не тот, что был прежде. Я не узнаю тебя. Ты был всегда умным, воспитанным мальчиком, с тобой можно было говорить. И вдруг ты стал вести себя так, как будто бес в тебя вселился. Что ты имеешь против барона? Ты ведь очень любил его. Он был всегда так мил с тобой.

— Да, потому что он хотел познакомиться с тобой.

Ей стало неловко.

— Вздор! Что тебе приходит в голову! Как ты можешь думать что-нибудь подобное?

Мальчик вспыхнул.

— Он лгун, он фальшивый человек. Во всем, что он делает, только расчетливость и низость. Он хотел с тобой познакомиться, поэтому он был любезен со мной и обещал мне собаку. Я не знаю, что он обещал тебе и почему он с тобой так любезен, но и от тебя он чего-то хочет. Наверное, мама. Иначе он бы не был так вежлив и любезен. Он дурной человек. Он лжет. Посмотри на него хорошенько. Какой лживый у него взгляд! О, я ненавижу его, этого жалкого лгуна, этого негодяя...

— Эдгар, можно ли так говорить! — Она была смущена и не знала, что ответить. Что-то ей подсказывало, что мальчик прав.

— Да, он — негодяй, в этом меня никто не разубедит. Ты сама увидишь. Почему он боится меня? Почему он прячется от меня? Потому что знает, что я вижу его насквозь, что я раскусил его, негодяя.

— Как можно так говорить, как можно так говорить! — Ее мозг не работал, ее бескровные губы повторяли одни и те же слова. На нее напал какой-то страх, она не знала, перед кем — перед бароном или перед мальчиком.

Эдгар заметил, что его предостережение произвело свое действие. И ему захотелось переманить ее на свою сторону, приобрести союзника в этой вражде, в этой ненависти к нему. Нежно он приблизился к матери, обнял ее, и голос его зазвучал лстиво и взволнованно.

— Мама, — начал он, — ты сама должна была заметить, что он задумал что-то недоброе. Он сделал тебя совсем другой. Не я переменялся, а ты. Он восстановил тебя про-

тив меня, чтобы ты одна была с ним. Он, наверное, хочет тебя обмануть. Я не знаю, что он тебе обещал. Я знаю только, что он не сдержит своего слова. Остерегайся его! Кто лжет одному, тот лжет и другому. Он злой человек, ему нельзя доверяться.

Этот голос, мягкий и полный слез, звучал как будто из ее собственного сердца. Со вчерашнего дня в ней пробудилось какое-то неприятное чувство, говорившее ей то же самое — все настойчивей и настойчивей. Но ей было стыдно получить урок от собственного сына. Как часто бывает, она, не будучи в состоянии справиться с сильным чувством, нашла выход в резкости слов. Она поднялась:

— Дети не могут этого понять. Ты не должен вмешиваться в эти дела. Ты должен вести себя прилично. Вот и все.

Лицо Эдгара снова приняло ледяное выражение.

— Как хочешь, — сказал он сухо, — я предостерег тебя.

— Значит, ты не извинишься?

— Нет.

Они упрямо стояли друг против друга. Она чувствовала, что ее авторитет колеблется.

— В таком случае ты будешь обедать здесь, наверху, один. И ты не сядешь с нами за стол, пока не извинишься. Я тебя научу хорошим манерам. Ты не выйдешь из комнаты, пока я тебе не позволю. Понял?

Эдгар улыбнулся. Эта коварная улыбка как будто срослась с его губами. В душе он сердился на себя. Как глупо, что он опять дал волю своему сердцу и захотел предостеречь эту лгунью!

Мать, шурша платьем, вышла, не оглянувшись на него. Она боялась этих пронзительных глаз. Мальчик стал ей неприятен с тех пор, как она почувствовала, что глаза

его открылись и он стал ей говорить как раз то, чего она не хотела слышать, не хотела знать. Ее пугало, что внутренний голос, голос совести, отделенный от нее в образе ребенка, ее собственного ребенка, — не дает ей покоя, предостерегает ее, издевается над ней. До сих пор этот ребенок был придатком к ее жизни, украшением, игрушкой, чем-то милым и близким; иногда он был немного в тягость, но все же жизнь ее протекала в одном русле и в такт с ее жизнью. Сегодня впервые он восстал против нее и отказался подчиниться ее воле. Нечто вроде ненависти примешивалось теперь к мысли о ребенке.

И все же — теперь, когда она, утомленная, спускалась с лестницы, этот детский голос прозвучал в ее собственной груди. «Остерегайся его!» Этого предостережения нельзя было заглушить. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него вопросительно, — все глубже и глубже, — пока в нем не отразились слегка улыбающиеся губы, округленные, словно готовые произнести опасное слово. Все еще звучал внутри этот голос; но она пожала плечами, как будто сбрасывая с себя все эти невидимые сомнения, бросила в зеркало веселый взгляд, подобрала платье и спустилась с решительным жестом игрока, звонко бросающего на стол последний червонед.

СЛЕДЫ ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ

Кельнер, принесший обед арестованному в своей комнате Эдгару, запер дверь. Замок щелкнул за ним. Мальчик вскочил в бешенстве: это было сделано, конечно, по приказанию матери; его запирали в клетку как дикого зверя. Мрачные мысли овладели им.

«Что происходит внизу, пока я сижу здесь взаперти? О чем они говорят теперь? Может быть теперь и делается то таинственное дело, и оно ускользнет от меня? О, эта

тайна, которую я ощущаю всегда и повсюду, когда я среди взрослых, которая творится ночью, за закрытыми дверями, заставляет их понижать голос, если я случайно вхожу, — эта великая тайна, которая в эти дни почти дается мне в руки, все эти дни, и которую я все-таки не могу схватить! Чего только я ни делал, чтобы раскрыть ее! Я стащил книги у папы из письменного стола, я читал про все эти удивительные вещи, но ничего не понял. Должно быть, есть какая-то печать, которую надо сорвать, чтобы понять все это — может быть, во мне самом, может быть, в других. Я спрашивал горничную, просил ее объяснить мне эти места в книгах, но она только смеялась надо мной. Как ужасно быть ребенком, полным любопытства, и не сметь никого спросить, быть смешным в глазах взрослых, казаться глупым и бесполезным! Но я узнаю, я чувствую: скоро я буду знать все. Часть этой тайны уже в моих руках, и я не успокоюсь, пока не буду знать всего.»

Он прислушался, не идет ли кто-нибудь. Легкий ветер пронесся за окнами по деревьям и раздробил зеркало лунного света между ветвями на сотню зыбких осколков.

«Ничего хорошего не может быть у них на уме, иначе они не прибегали бы к такой жалкой лжи, чтобы отделаться от меня. Наверное, они теперь смеются надо мной, проклятые, но последним буду смеяться я. Как глупо, что я позволил запереть себя здесь, дал им свободу хоть на секунду, вместо того чтобы прилипнуть к ним и следить за каждым их движением! Я знаю, взрослые всегда неосторожны, и эти тоже выдадут себя. Они всегда думают, что мы еще совсем маленькие и вечером всегда спим. Они забывают, что можно притвориться спящим и подслушивать, что можно казаться глупым, а быть очень умным. Недавно, когда у тети появился ребенок, они это знали

заранее, а в моем присутствии прикинулись удивленными. Но я тоже знал это: я слышал их разговор однажды вечером за несколько недель до этого, когда они думали, что я сплю. И на этот раз я опять удивлю их, подлецов. О, если бы я мог взглянуть на них в щелку, понаблюдать за ними теперь, когда они чувствуют себя в безопасности! Не позвонить ли мне? Придет горничная, откроет дверь и спросит, что мне нужно. Или поднять шум, бить посуду, — тогда тоже откроют. И в эту минуту я бы мог выскочить и проследить за ними. Но нет, этого я не хочу. Пусть никто не видит, как подлю они со мной обращаются. Я слишком горд для этого. Завтра я им отплачу.»

Внизу раздался женский смех. Эдгар вздрогнул: может быть, это его мать. У нее был достаточный повод смеяться, издеваться над ним, маленьким, беспомощным, которого запирают, когда он становится в тягость, которого бросают в угол, как сверток мокрого платья. Осторожно он взглянул в окно. Нет, это не она, — это чужие веселые девушки, которые поддразнивают парня.

Тут он заметил, как невысоко от земли было его окно. И сейчас же, незаметно, явилась мысль: выпрыгнуть теперь, когда они считают себя вне опасности, и выследить их. Его лихорадило от радости. Ему казалось, что великая, ослепительная тайна детства уже у него в руках. «Выйти, выскочить!» — что-то толкало его. Опасности никакой. Никто не проходит мимо, — и он выскочил. Раздался легкий хруст щебня, которого никто не слышал.

Подкрадываться, подслушивать — за эти два дня стало наслаждением его жизни. И наслаждение смешивалось теперь с легким трепетом страха, когда он тихонько, на цыпочках обходил кругом гостиницу, тщательно избегая ярких пятен света. Прежде всего, осторожно прижав лицо

к стеклу, он заглянул в столовую. Их обычное место пусто. Он продолжал поиски, переходя от окна к окну. Войти в гостиницу он не решался, из опасения нечаянно встретиться с ними в коридоре. Нигде их не было видно. Он начинал уже приходить в отчаяние, когда вдруг из двери скользнули две тени, — он подался назад и спрятался в темноте, — его мать со своим неизбежным спутником. Он пришел как-раз во время. О чем у них разговор? Он не мог расслышать. Они говорили тихо, и ветер слишком беспокойно шелестел в деревьях. Но вот — совершенно отчетливо до него донесся смех — голос матери. Такого смеха у нее он не слышал: странно резкий, точно от щекотки, возбужденный, нервный смех, который прозвучал чужим и испугал его. Она смеется. Значит, нет ничего опасного, ничего серьезного и значительного, что от него могли скрывать. Эдгар был немного разочарован.

Но почему они ушли из гостиницы? Куда они идут теперь вдвоем, ночью? Ветры, должно быть, неслись наверху на гигантских крыльях, и небо, только-что ясное и освещенное луной, потемнело. Черные платки, наброшенные невидимыми руками, окутывали по временам луну, и ночь становилась настолько непроницаемой, что не видно было дороги. Но освобождался снова месяц и озарял ее своим сиянием. Ландшафт купался в холодном серебре. Таинственна была эта игра света и теней и пленительна, как игра женщины с наготой и покрывами. В эту минуту ландшафт был обнажен. Эдгар увидал движущиеся силуэты, пересекавшие дорогу, — вернее, один силуэт, — так тесно они прижимались друг к другу, — можно было подумать, что их сближает тайный страх. Но куда же они идут? Сосны стонали, какое-то смятение царило в лесу, как будто по нему пропосылся дикий охотник.

«Я пойду за ними, — подумал Эдгар, — они не услышат моих шагов за шумом ветра в леса.» И, пока они шли внизу по широкой светлой дороге, он тихо пробирался над ними по лесу, от дерева к дереву, от тени к тени. Он следовал за ними упорно и неумолимо, благословлял ветер, который заглушал его шаги, и проклинал его за то, что он уносил от него слова. Если бы ему удалось хоть раз услышать их разговор, он, конечно, узнал бы тайну.

Две тени внизу скользили, ничего не подозревая. Они блаженствовали одни в этом просторе бурной ночи и отдавались все растущему волнению. Ничто не навело их на мысль, что наверху, во мраке ветвей, кто-то следит за каждым их шагом и два глаза прикованы к ним со всей силой ненависти и любопытства.

Вдруг они остановились. Эдгар тоже. Он плотно прижался к дереву. Им овладел бешеный страх. Что, если они повернут и раньше его вернутся в гостиницу, если ему не удастся скрыться в свою комнату и мать найдет ее пустой? Тогда все погибло. Они узнают, что он за ними следил, и тогда уже не останется никакой надежды вырвать у них тайну. Но они медлили. Повидимому, между ними возникло какое-то разногласие. К счастью, показался месяц, и он мог все ясно видеть. Барон указывал на темную узкую тропинку, ведущую в долину, где лунный свет не разливался, как здесь на дороге, широким, полным потоком, а каплями и редкими лучами пробирался сквозь чащу. «Зачем ему туда?» — изумился Эдгар. Его мать, повидимому, сказала «нет», но он ее уговаривал. Эдгар видел по его жестам, что он настаивает. Страх обуял ребенка. Чего хочет этот человек от его матери? Зачем этот негодяй хочет заманить ее в темноту? Из книг, которые заменяли ему действительность, ему вспомнились

картины убийств, похищений, темных преступлений. Он, наверное, хотел ее убить и для этого, освободившись от него, завлек ее сюда одну. Звать на помощь? Убийца! Крик был готов вырваться из горла, но губы пересохли, и он не издал ни звука. Его нервы были напряжены, он еле держался на ногах; в испуге искал он опоры, — и под руками его хрустнула ветка.

Они испуганно повернулись и усталились в темноту. Эдгар стоял, молча прислонившись к дереву. Маленькое тело глубоко спряталось в тень. Была мертвая тишина. Все же они казались встревоженными. «Повернем», — услышал он голос матери. Испуганно сорвались эти слова с ее уст. Барон, сам очевидно обеспокоенный, согласился. Они пошли обратно, медленным шагом, тесно прижавшись друг к другу. Их замешательство спасло Эдгара. На четвереньках он пополз между деревьями, царапая до крови руки. Достигнув поворота, он бросился бежать изо всей силы, так что дух захватывало. Так он добежал до гостиницы и в несколько прыжков был наверху. Ключ, запиравший его комнату, к счастью, торчал снаружи. Он повернул его, открыл дверь и бросился на постель. Хотя несколько минут он должен был отдохнуть, сердце бурно билось в груди — точно язык раскачиваемого колокола.

Затем он решил встать и прислонился к окну в ожидании их возвращения. Это продолжалось долго. Они, должно быть, шли очень, очень медленно. Осторожно он выглянул из затененной рамы. Вот они медленно приближаются, их платья залиты лунным светом. В этом зеленом свете они выглядели, как призраки, и снова им овладела сладостная жуть: может быть, это в самом деле убийца, и тогда — какому страшному делу он помешал своим присутствием! Ясно различал он белые, как мел, лица. В лице

его матери было незнакомое ему выражение восторга, барон, напротив, был суров и недоволен. Очевидно, потому, что его намерение не удалось.

Они подошли уже совсем близко. Лишь перед самой гостиницей их фигуры разъединились. Взглянут ли они вверх? Нет, никто не взглянул. «Вы обо мне забыли, — подумал мальчик с дикой злобой и с тайным торжеством, — но я вас не забыл. Вы думаете, что я сплю или что меня нет на свете, но вы убедитесь в своем заблуждении. Я буду подстергать каждый ваш шаг, пока не вырву у этого негодяя тайну, ужасную тайну, которая не даст мне спать. Я разорву ваш союз. Я не сплю.»

Медленно они вошли в дверь. И, когда они проходили один за другим, их силуэты снова слились на мгновение; одна черная полоса тени скользнула в освещенную дверь. Площадь перед домом снова лежала в лунном свете, как широкий луг, покрытый снегом.

НАПАДЕНИЕ

Эдгар, тяжело дыша, отошел от окна. Он содрогался от ужаса. Никогда в жизни он не стоял так близко к тайне. Мир тревог и захватывающих приключений, мир убийств и обмана, о котором он читал в книгах, находился, по его представлению, в царстве сказок, в близком соседстве с царством снов, — мир несуществующего и недостижимого. Теперь же он, казалось, попал в этот ужасный мир, и все его существо было лихорадочно потрясено этой неожиданной встречей. Кто был этот таинственный человек, так внезапно вторгшийся в их спокойную жизнь? Настоящий ли убийца? — Недаром он все искал уединения и старался завлечь его мать в темноту. Надвигалось что-то ужасное. Он не знал, что делать. Завтра — он твердо решил — он напишет или пошлет телеграмму отцу. Но не

будет ли поздно? Не может ли это случиться сегодня ночью? Ведь мамы еще нет в комнате; она все еще с этим ненавистным чужим человеком.

Между внутренней дверью и тонкой наружной дверью был промежуток не шире платяного шкафа. Он втиснулся в этот мрак, чтобы подслушать ее шаги в коридоре. Ни на минуту он не оставит ее одну. В этот поздний час коридор был пуст и слабо освещен единственной лампой.

Наконец — минуты тянулись страшно медленно — он услышал осторожные шаги. Он напряженно прислушивался. Это была не быстрая, свободная походка человека, направляющегося прямо к себе в комнату, а тягучие, нерешительные, замедленные шаги, как бы преодолевающие бесконечно тяжелый и крутой путь. Время от времени шаги прерывались, и слышался шопот. Эдгар дрожал от волнения. Может быть, это они вдвоем? Неужели она все еще с ним? Шопот был слишком далеко, но шаги, попрежнему замедленные, приближались. Теперь он слышал ненавистный голос барона — тихий и хриплый, но не мог разобрать его слов, и затем поспешный, обороняющийся голос его матери: «Нет, не сегодня! Нет!».

Эдгар дрожал; они приближались, и он мог услышать все. Каждый, едва слышимый шаг отзывался болью в его груди. И этот голос — каким ужасным казался он ему, этот жадно домогающийся, отвратительный голос его врага! «Не будьте жестоки. Вы были так прекрасны сегодня вечером.» И снова голос матери: «Нет, я не должна, я не могу, оставьте меня».

В ее голосе было столько тревоги, что мальчик испугался. Чего он хочет от нее? Чего она боится? Они все приближались; сейчас они подойдут к его двери. Вот он стоит за их спиной, дрожащий и невидимый,

на расстоянии ладони от них, скрытый только тонкой перегородкой. Голоса как будто шепчут ему на ухо.

«Идемте, Матильда, идемте!» Снова стон матери, теперь еще тише, — стон почти уже сломленного сопрогибания.

Но что это? Они прошли дальше. Его мать прошла мимо своей комнаты. Почему она больше ничего не говорит? Не заткнул ли он ей рот? Может быть, он ее душит?

Он обезумел от этих мыслей. Дрожащей рукой он открывает дверь. Он увидал их обоих в полутемном коридоре. Барон обнял его мать за талию и тихо уводит ее; она, повидимому, уступает ему. Вот он останавливается перед своей комнатой. «Он хочет заткнуть ее туда, — испуганно подумал мальчик, — теперь случится самое ужасное.»

Диким толчком он распахивает дверь, выбегает, бросается за ними. Мать испуганно вскрикивает, увидев, как что-то мчится на нее из темноты; она готова упасть без чувств, барон с трудом поддерживает ее. Но в эту самую секунду барон почувствовал, как маленький, слабый кулак бьет его по губам и какое-то существо, точно кошка, вцепилось в его тело. Он выпускает из своих объятий испуганную женщину, которая быстро убегает, и, еще не зная, с кем он борется, в темноте наносит удары.

Мальчик сознает, что он слабее противника, но не уступает. Наконец, наконец настала долгожданная минута расплаты за измену, когда он может излить всю накопившуюся ненависть. Со стиснутыми зубами, в лихорадочном, безумном возбуждении, он колотит своими кулачками куда попало. Теперь барон узнал его; и он преисполнен ненависти к этому тайному шпиону, который отравил ему

последние дни и испортил игру; он, не стесняясь, возвращает удары. Эдгар стонет, но не выпускает его и не зовет на помощь. С минуту они борются, озлобленно и безмолвно, в темноте коридора. Наконец, барон понял дикость этой борьбы с ребенком; он крепко схватил его, чтобы отбросить прочь. Но мальчик, чувствуя, что его мускулы слабеют, зная, что через минуту он будет побежден и избит, в ярости впивается зубами в эту крепкую, твердую руку, которая хочет схватить его за шиворот. Враг невольно вскрикивает и выпускает мальчика, который воспользовался этой секундой, чтобы скрыться в свою комнату и запереть ее на задвижку.

Всего минуту длилась эта полуночная борьба. Никто в коридоре ее не заметил. Все тихо, все погружено в сон. Барон вытирает окровавленную руку платком и беспокойно глядит в темноту. Нет, никто не слышал. Только сверху — точно издеваясь — мерцает беспокойный свет.

ГРОЗА

«Что это было — сон? Дурной, страшный сон?» — спрашивал себя на другое утро Эдгар, очнувшись с растрепанными волосами от власти ужасов. В висках глухо стучало, все члены одеревенели, и, посмотрев на себя, он испуганно заметил, что спал, не раздеваясь. Он вскочил, с трудом добрал до зеркала и отшатнулся, увидав свое бледное, искаженное лицо с красноватой шишкой на лбу. Он собрал свои мысли и с ужасом восстановил в памяти ночную борьбу в коридоре; он вспомнил, как влетел в комнату, лихорадочно дрожа, бросился на постель, одетый, готовый к бегству. Тут он, должно быть, заснул — погрузился в этот тяжелый, глухой сон, еще раз переживая в нем все, но по-иному — еще ужаснее, ощущая влажный запах свежей, струящейся крови.

Снизу доносились хрустящие по щебню шаги. Голоса, как невидимые птички, взлетали вверх, и солнце бросало свои лучи в глубь комнаты. Должно быть, было уже позднее утро. Но, взглянув с испугом на часы, он увидел, что стрелка показывает полночь; в своем волнении он забыл их завести вчера. И эта неопределенность времени вызвала в нем чувство беспокойства, удвоенное неведением того, что, собственно, случилось. Он быстро собрался с силами и спустился вниз, с чувством вины и беспокойства в душе.

За завтраком его мать сидела одна на обычном месте. Эдгар вздохнул свободно, видя, что его врага нет, что ему не приходится смотреть на это ненавистное лицо, которое он вчера бил кулаками. Все же, подходя к столу, он ощутил в себе некоторую неуверенность.

— С добрым утром, — поздоровался он.

Мать не ответила. Она даже не взглянула на него; ее зрачки были как-то странно-неподвижно устремлены на ландшафт. Она была очень бледна, синие круги вокруг глаз, ноздри нервно вздрагивали, выдавая, как всегда, ее возбуждение. Эдгар закусил губы. Это молчание смущало его. Он, в сущности, не был уверен, не ранил ли он вчера серьезно барона, — и знает ли она вообще о ночном столкновении? Эта неизвестность мучила его. Но ее лицо было так неподвижно, что он даже не пытался на нее взглянуть, боясь, что опущенные сейчас глаза вдруг подымутся из-за скрывающих их век и уставятся на него. Он сидел совершенно спокойно, боясь произвести малейший шум. Осторожно подымал чашку и ставил ее на блюдечко, украдкой посматривая на пальцы матери, нервно игравшие ложкой: они были искривлены и, казалось, выдавали ее скрытый гнев. Так он просидел четверть часа, с тяжелым чувством ожидания чего-то, что не наступало. Ни один звук, ни одно слово не облегчило его. И теперь,

когда мать поднялась, все еще не замечая его присутствия, он не знал, что ему делать, — оставаться здесь одному за столом или пойти за ней. В конце-концов, он поднялся и покорно пошел за матерью, которая нарочно не обращала на него внимания. Чувствуя, как смешно плестись за ее хвостом, он замедлил шаги и постепенно отстал от нее. Не взглянув на него, она вошла в свою комнату. Когда Эдгар поднялся наверх, он очутился перед закрытой дверью.

Что случилось? Он ничего не понимал. Вчерашняя уверенность оставила его. Может быть, он был неправ вчера с этим нападением? И что они ему готовили: наказание или новое унижение? Он чувствовал: что-то должно случиться — что-то ужасное, неминуемое. Он чувствовал тяжесть приближающейся грозы, напряжение двух заряженных электричеством полюсов, которое должно было разрядиться молнией. И это бремя предчувствий он влачил в продолжение четырех одиноких часов, до самого обеда, блуждая по комнатам, пока его узкие, детские плечи не согнулись под незримую тяжесть; он сел за стол, уже готовый покориться.

— Добрый день, — снова сказал он. Он должен был разорвать это молчание, — это угрожающее молчание, нависшее над ним черной тучей.

Ответа опять не последовало, опять мать смотрела мимо него. И с новым испугом Эдгар увидел себя лицом к лицу с сознательной, злоедей злобой, какой он еще не знал в своей жизни. До сих пор их ссоры бывали гневными вспышками, вызванными скорее нервным возбуждением, чем чувством, и быстро разрешались улыбкой примирения. Но на этот раз — ему было ясно — он вызвал яростное чувство из самых глубин ее существа, и сам испугался этой неосторожно пробужденной силы. Он почти

не дотронулся до еды. Что-то сухо сдавливало его горло, грозя его задушить. Его мать словно ничего не замечала. Только вставая из-за стола, она обернулась, как будто случайно, и сказала:

— Приходи наверх, Эдгар, мне надо с тобой поговорить.

Эти слова не звучали угрозой, но в них было столько ледяной холодности, что Эдгару показалось, будто его вдруг обвили железной цепью. Его сопротивление было сломлено. Молча, как побитая собака, он пошел за ней в комнату.

Она продлила его муки, помолчав еще несколько минут. О, эти минуты, когда он слышал, как били часы, на дворе смеялся ребенок, а в груди стучало сердце! Но и она как будто не была уверена в себе: она заговорила, не глядя на него, повернувшись к нему спиной.

— Я не буду больше говорить о твоём вчерашнем поведении. Это было неслыханно, и мне стыдно вспоминать о нём. За последствия его ты должен пенять на себя. Теперь я хочу тебе сказать, что в последний раз ты был один со взрослыми. Я написала сейчас отцу, что тебе нужен воспитатель, или придется отдать тебя в пансион, чтобы ты научился приличному поведению. Я больше не могу с тобой возиться.

Эдгар стоял, потупив голову. Он чувствовал, что это было только введение, угроза, и в беспокойстве ждал самого главного.

— Ты сейчас же извинишься перед бароном.

Эдгар вздрогнул, но она не дала перебить себя.

— Барон сегодня уехал, и ты напишешь ему письмо, которое я тебе продиктую.

Эдгар сделал движение, но мать была непреклонна:

— Без разговоров. Вот бумага и перо. Садись.

Эдгар поднял глаза. Ее взгляд выражал непоколебимое решение. Он никогда не видал свою мать такой суровой и спокойной. Им овладел страх. Он сел, взял перо и низко опустил голову над столом.

— Сверху число. Написал? Перед обращением пропусти строку. Так. «Глубокоуважаемый барон!» — восклицательный знак, опять пропусти строку — «Я только-что узнал, к своему сожалению,» — написал? — «что вы уже покинули Земмеринг», — Земмеринг — два м, — «и я вынужден сделать письменно то, что хотел сделать лично, а именно», — немного поскорее, каллиграфии не требуется, — «извиниться перед вами за свое вчерашнее поведение. Как вы, вероятно, знаете со слов моей мамы, я поправляюсь после тяжелой болезни и очень раздражителен. Многие мне представляются в преувеличенном виде, и мне приходится быстро раскаиваться...».

Согнутая над столом спина выпрямилась. Эдгар повернулся: его упрямство пробудилось снова.

— Этого я не напишу, это неправда.

— Эдгар!

В ее голосе была угроза.

— Это неправда. Я ничего не сделал, в чем должен раскаиваться. Я не сделал ничего дурного, и мне не в чем извиняться. Я побежал тебе на помощь, когда ты позвала.

Ее губы побледнели, ноздри расширились.

— Я звала на помощь? Ты с ума сошел!

Эдгар пришел в ярость. Он порывисто вскочил.

— Да, ты позвала на помощь, там, в коридоре, вчера ночью, когда он тебя схватил. Ты крикнула: «Оставьте, оставьте меня!» И так громко, что я слышал у себя в комнате.

— Ты лжешь, я ни разу не была с бароном здесь, в коридоре. Он меня проводил только до лестницы...

У Эдгара сердце остановилось от этой бесстыдной лжи. Голос оборвался; стеклянными глазами он уставился на нее.

— Ты... не была... в коридоре? И он... он тебя не схватил? Не потащил тебя насильно?

Она рассмеялась. Сухой холодный смех.

— Тебе приснилось.

Это было уже слишком. Он знал теперь, что взрослые лгут, что они прибегают к мелким, ловким уверткам, прозрачной лжи и хитрой двусмысленности. Но это наглое, хладнокровное заpiresательство, с глазу на глаз, приводило его в бешенство.

— И эта шишка мне тоже приснилась?

— Откуда мне знать, с кем ты дрался! Но мне не-зачем с тобой препираться. Ты должен слушаться, и все. Садись и пиши.

Она была очень бледна и напрягала последние силы, чтобы сохранить самообладание.

Но в Эдгаре будто что-то оборвалось, погасла последняя искра веры. В его голове не укладывалось, как можно было так топтать ногами правду, — будто горящую спичку. В нем все затянулось ледяной корой, и слова его были остры, злы, несдержанны:

— Да, все это мне приснилось? Все, что было в коридоре, и эта шишка? И что вы вчера гуляли вдвоем в лунную ночь, и что он хотел повести тебя по темной дороге — и это тоже приснилось? Ты думаешь, что меня можно запереть в комнате, как маленького ребенка? Нет, я не так глуп, как вы полагаете. Я знаю то, что знаю.

Он дерзко посмотрел ей в лицо, и это сломило ее силу: видеть прямо перед собой лицо собственного ребенка, искаженное ненавистью!

Ее гнев бурно прорвался.

— Марш! Пиши сейчас же! Или...

— Или что?.. — вызывающе дерзким стал его голос.

— Или я высеку тебя, как маленького ребенка.

Эдгар сделал шаг к ней, насмешливо улыбаясь.

И тут же почувствовал ее руку на своем лице. Эдгар вскрикнул. И, как утопающий, который размахивает вокруг себя руками, ощущая только глухой шум в ушах и красные искры перед глазами, он слепо возвращал ей удары кулаком. Он ощутил что-то мягкое, вот ее лицо, услышал крик...

Этот крик вернул его к действительности. Он пришел в себя, и ему представилась вся чудовищность его поступка... Он бил свою мать. Страх овладел им, и стыд, и ужас, неудержимое желание исчезнуть, провалиться сквозь землю, убежать, убежать, — только бы не встречаться с этим взглядом. Он бросился к двери, быстро спустился с лестницы, выскочил на улицу, — скорей, скорей, — будто его преследовала стая бешеных собак.

ПЕРВАЯ ШКОЛА

Внизу, на дороге, он, наконец, остановился. Он должен был прислониться к дереву, — до того дрожали его члены от страха и волнения, до того хрипло вырывалось дыхание из его переполненной груди. За ним гнался ужас перед собственным поступком; он душил его за горло и тряс его, как в лихорадке. Что ему оставалось делать? Куда бежать? Уже здесь, посреди леса, всего в пятнадцати минутах от дома, где он жил, им овладело чувство покинутости. Все казалось иным — неприязненным и враждебным — с тех пор, как он остался один и без опоры. Деревья, которые еще вчера по-братски шумели вокруг него, сжимались мрачно, как угроза. А ведь все то, что предстает впереди, должно быть еще более чуждым и неиз-

вестным! Голова кружилась у мальчика от одиночества в этом огромном, неведомом мире. Нет, этого он еще не может вынести, не может вынести один. Но к кому бежать? Отца он боялся: тот был вспыльчив, неприступен и немедленно отправил бы его обратно. Но назад он не хотел: лучше кинуться в этот мир неведомых опасностей; ему казалось, что он уже никогда не сможет взглянуть в лицо матери, которое он ударил кулаком.

Тогда он вспомнил о своей бабушке, об этой доброй, милой старушке, которая баловала его с детства и всегда защищала, когда ему грозило дома наказание или обида. Он укроется у нее в Бадене, пока пройдет первый гнев, оттуда напишет письмо родителям и попросит прощения. За эти четверть часа он почувствовал себя до того уничтоженным, — одной этой мыслью, что он, неопытный мальчик, одинок во всем мире, — что он проклял свою гордость, эту глупую гордость, которую вызвал в нем своей ложью чужой человек. Ему хотелось опять стать ребенком, как прежде, — послушным, терпеливым, без претензий, смешную преувеличенность которых он теперь создавал.

Но как попасть в Баден? Как перелететь это расстояние? Поспешно он ощупал свой маленький кожаный кошелек, который он всегда носил с собой. Слава богу, там еще блестел новый золотой в двадцать крон, который ему подарили ко дню рождения. Он все не мог решиться истратить его. Почти каждый день он проверял, лежит ли он на месте, наслаждался, разглядывая его, чувствовал себя богачом и, с благодарной нежностью, старательно чистил монету платком, пока она не заблестит, как маленькое солнце. Но внезапно его охватила мысль: хватит ли этих денег? Так часто ездил он по железной дороге и ни разу не подумал о том, что за это надо платить и сколько

Это может стоить — одну крону или сто. Впервые он заметил, что существуют в жизни вещи, о которых он никогда не задумывался, что все окружающие его предметы, которые он держал в руках, которыми он играл, имели каждый свою стоимость, свой особый вес. Он, еще часто тому назад мнивший себя всезнающим, проходил, оказывается, без всякого внимания мимо тысячи тайн и загадок. Теперь он стыдился, что его бедная мудрость спотыкалась уже на первой ступени у входа в жизнь. Все больше он падал духом, все медленнее становились его неуверенные шаги по пути к станции. Как часто он мечтал о таком побеге, мечтал окунуться в жизнь, стать императором или королем, солдатом или поэтом, — а теперь он нерешительно смотрел на этот маленький светлый дом с одной только мыслью в голове: хватит ли ему двадцати крон, чтобы добраться до бабушки? Рельсы, блестя, убежали вдаль. Вокзал был пуст. Эдгар робко подошел к кассе и шопотом, чтобы никто не слышал, спросил, сколько стоит билет в Баден. Удивленное лицо выглянуло из темного окошечка, два глаза улыбнулись из-за очков робкому ребенку.

— Целый билет?

— Да, — пробормотал Эдгар без малейшей гордости, скорее со страхом, что билет стоит слишком дорого.

— Шесть крон.

— Пожалуйста.

Облегченно он просунул в окошко свою любимую блестящую монету. Деньги зазвенели, и Эдгар опять почувствовал себя несказанно богатым, держа в руках коричневый кусок картона, обещавший ему свободу, и слыша в кармане приглушенный звон серебра.

Из расписания он узнал, что поезд должен прибыть через минуту. Эдгар уселся в угол. На платформе стояло

несколько человек, без дела и без всяких мыслей в голове. Но Эдгару казалось, что все смотрят на него и удивляются, что такой ребенок путешествует один, — как будто преступление и побег были написаны у него на лбу. Он вздохнул свободно, когда поезд, наконец, загудел и со свистом подошел к станции, — поезд, который должен был увезти его в мир. Садясь в вагон, он заметил, что у него был билет третьего класса. До сих пор он ездил только в первом, и снова он почувствовал, что здесь что-то новое, что есть различия, которых он не замечал. Несколько итальянцев-рабочих, с жесткими руками, с грубыми головами, держа заступы и лопаты в руках, сидели против него с мрачными, безнадежными взорами. Повидимому, они устали от тяжелой работы; некоторые из них спали с открытым ртом в гремящем поезде, прислонившись к жесткой и грязной стенке. «Они работали, чтобы получить деньги», подумал Эдгар; он не представлял себе, сколько они могли заработать, но опять почувствовал, что деньги — вещь, которую не всегда имеешь и которую надо как-то добывать. Впервые вошла в его сознание мысль, что он привык к атмосфере благосостояния, тогда как справа и слева от него зияли глубокие и темные пропасти, в которые он никогда не заглядывал. Тут же он заметил, что существует различие профессий и призваний, что жизнь окружена тайнами, которые можно схватить руками, но на которые он никогда не обращал внимания. Эдгар многому научился за этот час самостоятельной жизни; многое он увидел из этого тесного отделения вагона с окнами в открытое поле. И сквозь темный страх в его сердце стало расцветать что-то — еще не счастье, но изумление перед многообразием жизни. Он убежал из страха и трусости, — это сознание не покидало его ни на одну минуту, — но в первый раз в жизни он действовал

самостоятельно, пережил кусочек действительности, мимо которой он до сих пор проходил без внимания. Иными глазами он смотрел теперь в окно. Ему казалось, будто впервые он видит действительность, будто снято покрывало со всех вещей, и они показывали ему свое внутреннее назначение и тайный нерв своей деятельности. Дома пролетали, словно уносимые ветром, и мысли его обращались к людям, живущим в этих домах. Он старался угадать, богаты они или бедны, счастливы или несчастны, жаждут ли они так же, как и он, все знать, есть ли там дети, которые до сих пор тоже только играли с вещами, как и он. Железнодорожные сторожа, стоявшие на пути с развевающимися флагами, в первый раз не казались ему, как до сих пор, просто куклами, мертвыми игрушками, поставленными здесь случайно: он начал понимать, что в этом их судьба, борьба за существование. Все быстрее катились колеса, поезд змеей спускался в долину, все ниже становились горы; впереди расстиралась равнина. Еще раз он оглянулся назад, — вот они, эти горы, уже голубые, призрачные, далекие и недостижимые, и ему казалось, что там, где они постепенно сливались с туманным небом, осталось его детство.

НЕПРОНИЦАЕМЫЙ МРАК

Когда поезд остановился в Бадене и Эдгар очутился один на платформе, где уже горели огни и мерцали издали зеленые и красные сигналы, — к этому зрелищу присоединился внезапный страх перед надвигающейся ночью. Днем он чувствовал себя увереннее: кругом были люди, можно было отдохнуть, сесть на скамейку или смотреть в окна магазинов. Но как это вынести, когда люди спрячутся в дома, где каждого ждет своя постель, мирная беседа, а затем спокойная ночь, а он, с сознанием своей

вины, должен блуждать в одиночестве, в чужом городе? О, только бы иметь кровлю над головою, не оставаться ни одной минуты под открытым чужим небом!—это было его единственным отчетливым желанием.

Поспешно он шагал по хорошо знакомой дороге, не глядя по сторонам, пока не подошел к вилле, где жила его бабушка. Вилла была красиво расположена на широкой улице и скрыта от взоров прохожих виноградными лозами и плющом, в закрытом саду. За облаком зелени белым пятном выделялся приветливый старинный дом. Эдгар смотрел через решетку, как чужой. В доме не было движения, окна закрыты; вероятно, все — и хозяева и гости — были в глубине сада. Он уже прикоснулся к холодной задвижке, как вдруг произошло что-то непонятное: то, что два часа тому назад представлялось ему таким легким и естественным, теперь показалось ему невозможным. Как войти, как поздороваться, вынести все вопросы и отвечать на них? Как выдержать первые взгляды, когда он скажет, что тайком убежал от матери? И как объяснить весь ужас его поступка, которого он сам теперь не понимал? В доме открыли дверь. Его обуял глупый страх, что кто-нибудь может выйти, и он побежал, сам не зная куда.

Он остановился перед парком: там было темно, и он не ожидал встретить людей. Может быть, ему удастся присесть и, наконец, спокойно обдумать свое положение — отдохнуть и решить свою судьбу. Робко он вошел в парк. У входа горело несколько фонарей, придававших еще молодой листве призрачный блеск зеленоватой воды; в глубине парка, куда он спустился с холма, все представляло собой сплошную, душную, черную, волнующуюся массу, тонувшую в смутном мраке весенней ночи. Эдгар боязливо скользнул мимо людей, сидевших под фонарями за разго-

вором или чтением: ему хотелось быть одному. Но и там, в призрачном мраке неосвещенных аллей, было неспокойно. Все было насыщено тихим журчаньем и воркованьем, доносившимся из мрака и смешанным с дыханьем ветра в гибких ветвях, шорохом далеких шагов, шопотом сдержанных голосов, каким-то сладострастным, вздыхающим, стонущим гулом, исходившим одновременно от людей, животных и беспокойно спящей природы. Здесь царил опасная тревога, придавленная, скрытая и пугающая, какое-то загадочное подземное брожение в гуще леса, вызванное, быть может, только весной, но наводившее страх на беспомощного ребенка.

Он прижался к скамейке в этом бездонном мраке и пытался придумать, что ему рассказать дома. Но мысли ускользали раньше, чем ему удавалось их поймать; против воли он все прислушивался к заглушенным звукам, к таинственным голосам ночи. Как ужасна была эта тьма, как непроницаема, и все же как таинственно прекрасна! Люди, звери или только призрачная рука ветра производила этот шум и шелест, это манящее жужжание? Он прислушивался. Это был ветер, беспокойно проносившийся по деревьям, но—он ясно видел—проходили люди, обнявшиеся парами; это они, подымаясь из города, оживляли своим загадочным присутствием эту тьму. Чего им надо? Он не мог постичь. Они не разговаривают между собою,—не слышно их голосов,—только шаги беспокойно хрустят щебнем; тут и там он различал в просвете их силуэты, быстро пробегающие, как тени,—но все так же тесно прижимающиеся друг к другу, как тогда его мать с бароном. Эта тайна, эта великая, жгучая, роковая тайна была и здесь. Шаги приближаются. Вот раздается сдержанный смех. Его охватил страх быть замеченным, он прячется еще глубже в темноту. Но те двое, ощупью про-

двигаясь сквозь мрак, не замечают его. Они проходят, обнявшись. Эдгар облегченно вздохнул. Но вдруг, перед самой скамейкой, они замедляют шаги. Их лица прижимаются друг к другу. Эдгару ничего не видно, он только слышит стон, срывающийся с уст женщины, и горячие, безумные слова мужчины. Какое-то душное предчувствие пронзает его страх сладострастным трепетом. Так они стоят с минуту, и опять раздается хруст щебня под их удаляющимися шагами, затихающими в темноте.

Эдгар содрогнулся. Кровь быстрее и жарче разливается по телу. И вдруг он почувствовал себя невыносимо одиноким в этом непроницаемом мраке. С непреодолимой силой им овладело желание услышать дружелюбный голос, ощутить ласку, быть в светлой комнате, с людьми, которых любишь. Ему казалось, что вся бездонная тьма этой непроницаемой ночи вселилась в него и разрывала ему грудь.

Он вскочил. Домой, домой, только бы быть где-нибудь в доме, в теплой, светлой комнате, в соприкосновении с людьми! Что могли с ним сделать? Пусть его бьют, бранят,—ничто его не страшит, после того как он познал этот мрак и ужас одиночества.

Какая-то сила гнала его вперед, — и, сам не зная как, он опять очутился перед виллой, опять рука его прикасается к холодной задвижке. Сквозь гущу зелени он видел теперь освещенные стекла и за каждым освещенным окном представлял себе знакомую комнату и родных людей. Одна эта близость, одно это успокаивающее сознание, что сейчас он увидит людей, любящих его, наполняло его счастьем. Он еще медлил, — но только для того, чтобы продлить это сладостное предвкушение.

Вдруг за его спиной раздается испуганный, пронзительный голос:

— Эдгар, да вот же он!

Бабушкина горничная увидала его, бросилась к нему и схватила за руку. Дверь в доме открылась; лая и прыгая, к нему кинулась собачка; из дома выходили со свечами. Он услышал испуганные и счастливые голоса, радостную суматоху криков и шагов и увидел знакомые фигуры. Раньше всего — бабушку, простирающую к нему руки, а за ней — он не верит своим глазам — свою мать. С заплаканными глазами, дрожащий, запуганный, стоит он среди взрыва нежности, в нерешительности, что сделать, что сказать, сам не зная, что он испытывает — страх или счастье.

ПОСЛЕДНИЙ СОН

Вот как это случилось. Его здесь искали и ждали уже давно. Мать, несмотря на свой гнев, испуганная диким бегством возбужденного ребенка, искала его по Земмерингу. Все были в страшном волнении и предполагали самое худшее, когда один господин сообщил, что он видел мальчика около трех часов у станционной кассы. Там узнали, что Эдгар взял билет в Баден, и мать немедленно поехала вслед за ним. Ей предшествовали, распространяя волнение, телеграммы в Баден и Вену, к отцу, и уже в течение двух часов все было поднято на ноги в погоне за беглецом.

Теперь они держали его крепко, но он и не пытался ускользнуть. Стараясь не высказывать своего торжества, они ввели его в комнату. Но как странно: он не замечал обрушившихся на него упреков, так как в их глазах светились любовь и радость. Даже и этот притворный гнев был непродолжителен. Бабушка со слезами обнимала его, и никто больше не заговаривал о его проступке; его окружили исключительным вниманием. Горничная снимала

с него костюм и переодевала его в более теплую одежду, бабушка спрашивала, не голоден ли он, не нужно ли ему чего-нибудь; все спрашивали и мучили его с нежной заботливостью, а когда заметили его смущение, оставили его в покое. Его охватило сладостное чувство быть снова ребенком, — чувство, которым он пренебрег и которого ему все же так не хватало. Он стыдился, вспоминая свое высокомерие последних дней, свое желание променять все это на обманчивую радость одиночества.

В соседней комнате зазвенел телефон. Он слышал голос своей матери, слышал отрывочные слова: «Эдгар... вернулся... приезжай... последним поездом», и удивлялся, что она не набросилась на него, только обняла и задержала на нем какой-то особенный взгляд. Чувство раскаяния говорило в нем все сильнее, и охотнее всего он сбежал бы от забот бабушки и тети и пошел к ней попросить у нее прощения; в полном смирении, ей одной он сказал бы, что хочет быть опять ребенком и будет слушаться. Но едва он поднялся, бабушка испуганно обратилась к нему:

— Куда ты?

Он остановился, пристыженный. Они приходили в ужас, как только он вставал с места. Напуганные им, они боялись, что он снова убежит. Откуда им знать, что он так раскаивается в своем бегстве!

Стол был накрыт, ему принесли наскоро приготовленный ужин. Бабушка сидела с ним рядом и не сводила с него глаз. Она, тетя и горничная как бы заключили его в круг тепла и тихого уюта, и эта обстановка вызывала в нем удивительное чувство успокоения. Его смущало только, что мать не входила в комнату. Если бы она знала, как он смирился, она бы наверное пришла!

За окнами послышался стук колес. У калитки остановилась коляска. Все заволновались, общее волнение сооб-

щилось и Эдгару. Бабушка вышла, в темноте раздались громкие голоса, и он догадался, что приехал отец. Эдгар испуганно заметил, что он остался один в комнате; даже минута одиночества была для него страшна. Отец его был строг; это был единственный человек, которого он действительно боялся. Эдгар прислушался. Отец казался возбужденным, он говорил громко, и в голосе его слышалось раздражение. Ему отвечали успокаивающие голоса бабушки и матери, повидимому, старавшиеся смягчить его. Но голос отца оставался таким же суровым, как его шаги. Вот они все ближе и ближе, уже в соседней комнате, вот уже у самой двери, которая широко распахнулась.

Отец был высокого роста. И невыразимо маленьким казался себе рядом с ним Эдгар. Отец был не в духе и, повидимому, очень сердит.

— Что тебе пришло в голову убежать, скверный мальчишка? Как ты мог себе позволить так напугать свою мать?

Голос его звучал сердито, и руки нервно шевелились. За ним тихо вошла мать. Ее лицо было в тени.

Эдгар не отвечал. Он понимал, что должен оправдываться; но как рассказать, что его обманули и побили?

Разве отец мог бы понять это?

— Что же ты не отвечаешь? Что случилось? Говори толком. Что тебе не пришлось по вкусу? Должна же быть какая-нибудь причина! Тебя кто-нибудь обидел?

Эдгар медлил. Нахлынули воспоминания и с ними прежний гнев, он уже готов был обвинять. Но тут он увидел, — сердце у него замерло, — что мать за спиной отца делает ему какой-то странный знак. Он его сразу не понял. Но она посмотрела на него, и он прочел в ее глазах мольбу. Тихо, тихо она поднесла палец к губам в знак молчания.

И вдруг его охватило огромное, невероятное чувство счастья. Он понял, что она молила его сохранить тайну и что в своих маленьких детских руках он держит ее судьбу. Им овладела буйная, радостная гордость: она доверилась ему. Он ощутил страстное желание принести себя в жертву, преувеличить свою вину, — чтобы показать, насколько он уже взрослый. Он собрался с силами.

— Нет, нет... не было никакой причины. Мама была очень добра со мной, но я был непослушен, я плохо себя вел... и вот... вот я убежал, потому что... я боялся.

Отец посмотрел на него изумленно. Менее всего он ожидал такого признания. Его гнев был обезоружен.

— Ну, хорошо, если ты сам сожалеешь... Не будем сегодня говорить об этом. Надо думать, что это больше не повторится.

Он остановился и взглянул на него. Голос его стал мягче.

— Как ты бледен! Но мне кажется, ты снова вырос. Я надеюсь, что ты больше не будешь делать таких глупостей; ты, в самом деле, уже не ребенок и мог бы быть благодарнее.

Эдгар все время смотрел на мать. Что-то блесело в ее глазах. Или это просто отблеск пламени? Нет, в самом деле, что-то блестит, влажное и светлое; на ее губах играет благодарная улыбка. Его послали спать, но это его не огорчило: ему хотелось остаться одному. У него было о чем подумать: столько сложных и богатых впечатлений! Все горе последних дней забылось под наплывом vlastного чувства первого переживания. Он чувствовал себя счастливым в таинственном предчувствии будущих событий. На дворе, среди темной ночи, шелестели во мраке деревья, но он уже не боялся. С тех пор как он познал, как богата жизнь, он уже утратил нетерпение. Ему казалось,

что сегодня он впервые увидел жизнь, не прикрытую тысячью детских обманов, во всей ее наготе, во всей ее сладострастной опасной красоте. Он никогда не думал, что день может быть так насыщен сменами горя и радости, и был счастлив мыслью, что предстоит еще много таких дней, что впереди целая жизнь, которая раскроет ему свои тайны. Сегодня ему был дан первый намек на многообразие жизни, в первый раз, казалось ему, он понял человеческую природу, — понял, что люди нуждаются друг в друге — даже тогда, когда кажутся врагами, — и что сладко быть любимым ими. Он не был способен думать о чем-нибудь или о ком-нибудь с ненавистью; он ни о чем не жалел, и даже для барона, для этого соблазнителя, злейшего своего врага, он нашел новое чувство благодарности: это он раскрыл ему дверь в этот мир первых переживаний.

Было так сладостно думать об этом в темноте; его мысли уже сливались с образами сновидений — это был почти сон. И ему показалось, будто раскрылась дверь и кто-то тихо вошел. Он думал, что это уже во сне, и не мог раскрыть глаз. Он почувствовал чье-то дыхание, прикосновение другого лица, теплого и нежного, и знал, что это была его мать. Она целовала его и ласково гладила его голову. Он чувствовал ее поцелуй и ее слезы; отвечая на ласку, он принимал ее, как знак примирения и благодарности за его молчание. Только позже, много лет спустя, он понял, что эти немые слезы были обетом стареющей женщины принадлежать с этих пор только ему, только своему ребенку; понял, что это был отказ от смелых надежд, прощанье с личными желаниями. Он не знал, что она ему была благодарна за то, что он спас ее от бесплодного приключения; не знал, что вместе с этой лаской она передала ему в наследство на всю его будущую жизнь

горькое и сладостное бремя любви. Всего этого ребенок не понял тогда, но он чувствовал, что нет большего блаженства, чем быть любимым, что этой любовью он уже связан с великой тайной мира.

Когда она уже отняла свою руку, свои губы и тихо вышла,—на его губах еще оставалось ощущение теплоты ее дыхания. И родилось сладостное желание чаще прижиматься к таким мягким губам и испытывать такое нежное объятие. Но это веще предвкушение все той же мучительной тайны было уже затуманено сном. Еще раз пронеслись в его воображении пестрые картины последних часов, еще раз заманчиво раскрылась перед ним книга юности. Потом он заснул. Так начался для него более глубокий сон — сон его жизни.

ЛЕТНЯЯ НОВЕЛЛА

ПЕРЕВОД П. С. БЕРНШТЕЙН

Август прошлого лета я провел в Каденаббии, одном из маленьких местечек на берегу озера Комо, которые так очаровательно скрываются между белыми виллами и темным лесом. Тихий даже в более оживленные весенние дни, когда на узком пляже толпятся туристы из Белладжио и Менаджио,—в эти теплые недели городок представлял благоухающую пустыню, залитую солнцем. Гостиница была почти необитаема: несколько случайных гостей, возбуждавших друг в друге взаимное недоумение выбором такого глухого местечка для летнего отдыха, каждое утро сами удивлялись своей стойкости. Больше всего изумляла меня стойкость одного пожилого господина, очень представительной и элегантной наружности, который, по внешнему виду, представлял собою нечто среднее между корректным английским парламентарием и парижским фланером. Он не предавался ни одному из видов водного спорта и проводил целые дни, задумчиво следя за дымом своей папиросы или перелистывая книгу. Тягостное одиночество двух дождливых дней и его приветливость быстро сообщили нашему знакомству сердечность, которая почти совершенно стерла разницу возраста. Лифляндец по рождению, получивший воспитание во Франции, а затем в Англии, без профессии, без постоянного места жительства, он был человеком, лишенным родины, в благородном

смысле этого слова и принадлежал к числу викингов, пиратов красоты, которые разбойничьими налетами присваивают себе драгоценности всех городов. Как дилетант, он стоял близко ко всем искусствам, но сильнее любви к ним было аристократическое презрение, которое он проявлял в служении им: он был обязан им лучшими часами своей жизни, но не посвятил им ни одного часа творческой муки. Его жизнь была одной из тех, которые кажутся лишними, потому что не скованы цепями общест-венности: все их богатство, накопленное тысячами дра-гоценных переживаний, исчезает, не оставляя наследия, с их последним вздохом.

Об этом я говорил ему однажды, когда мы сидели после обеда перед гостиницей и смотрели, как светлое озеро медленно покрывается тенью. Он улыбнулся:

— Может быть, вы и правы. Я не верю в воспоминания; пережитое умирает в то мгновение, когда оно покидает нас. А поэзия? Разве ее сокровища не погибают через двад-цать, пятьдесят, сто лет? Но я расскажу вам нечто, что могло бы послужить прекрасным сюжетом для новеллы. Пройдемся! О таких вещах легче говорить на ходу. §

Мы направились по пляжу по чудесной дороге, зате-ненной вечными кипарисами и густыми каштанами, сквозь ветви которых беспокойно блестело озеро. На другом бе-регу, подобно белому облаку, лежало Белладжио, мягко оза-ренное быстро меняющимися красками закатного солнца, и высоко, высоко над темным холмом пылала в алмазах лучей каменная корона виллы Сербеллони. Воздух был слегка душный, но не тяжелый; как нежная рука женщины, он мягко спускался на тени и наполнял дыхание запахом невидимых цветов. Он начал:

— Прежде всего — одно признание. До сих пор я не говорил вам, что я уже был здесь, в Каденаббии,

в прошлом году, в это же время года и в той же гостинице. Это должно вас удивить, тем более, что, как я уже говорил вам, я избегаю в своей жизни всяких повторений. Но слушайте! Здесь было, конечно, так же пустынно, как и сейчас. Был тот же господин из Милана; он целый день ловил рыбу, чтобы вечером выпустить ее и снова поймать на следующее утро. Были две старые англичанки, тихое, растительное существование которых было мало заметно. Затем — красивый молодой человек с миленькой бледной девушкой; я до сих пор думаю, что она не была его женой: они казались слишком влюбленными друг в друга. И, наконец, одна немецкая, северо-немецкая семья самого строгого типа. Пожилая сухопарая белокурая дама, с угловатыми, некрасивыми движениями, с колючими стальными глазами и словно ножом вырезанным сварливым ртом. С ней была сестра — несомненно, сестра — с теми же чертами, только более расплывчатыми, смягченными. Всегда они были вместе, но никогда не разговаривали между собой; сидели, молча склонившись над вышиванием, в которое, казалось, вплетали всю свою бездумность, — неумолимые парки мира скуки и ограниченности. И между ними молодая, шестнадцатилетняя девушка, дочь одной из них, — не знаю, которой, так как резкость ее незаконченных линий уже уступала легкой женственной округленности. Она была, в сущности, некрасива — слишком тонка, незрела и, конечно, безвкусно одета, но было что-то трогательное в ее беспомощном томлении. Ее большие глаза сияли темным блеском, но все время смущенно убегали, раздробляя его в мигающих вспышках. Она тоже приходила всегда с работой, но руки ее часто замедлялись, пальцы засыпали, и она тихо сидела, устремив мечтательный, неподвижный взор на другой берег озера. Я не знаю, почему меня так трогало это зрелище. Может быть, это была банальная и все же неиз-

бежная мысль, на которую наводит вид увядающей матери рядом с цветущей дочерью, — вид тени за живым человеком; мысль, что в каждой черте уже кроется морщина, в каждой улыбке — усталость, в каждой мечте — разочарование? Или это было бурное, только что вспыхнувшее, бесцельное томление, неповторяемая, чудесная минута в жизни девушки, когда она жадно простирает взор ко всему, потому что не владеет еще тем одним, к чему она впоследствии прилепится, будет цепляться в ленивом гниении, как водоросль к пловучему лесу? Мне казалось чрезвычайно заманчивым наблюдать за ней — за ее мечтательным, влажным взором, за бурными ласками, которые она расточала каждой собаке, каждой кошке, за беспокойством, с которым она все начинала и ничего не доводила до конца. И потом — эта пылкая поспешность, с которой она по вечерам глотала несколько жалких книжонок из библиотеки отеля или перелистывала два привезенных с собою зачитанных томиков стихотворений Гете и Баумбаха... Но почему вы улыбаетесь?

Я должен был извиниться:

— Это странное сочетание — Гете и Баумбах.

— Ах, вот что! Конечно, это забавно. Но поверьте, молодым девушкам в этом возрасте все равно, что читать — хорошие или скверные стихи, подлинную или фальшивую поэзию. Стихи для них — только кубок, из которого они утоляют жажду, они не обращают внимания на вино; хмель бродит в них и без вина. Эта девушка была до краев полна томления; оно блестело в ее глазах, заставляло дрожать кончики ее пальцев за столом и придавало ее походке неловкость и в то же время окрыленность — нечто среднее между полетом и страхом. Видно было, что она жаждала поговорить с кем-нибудь, отдать что-нибудь от своего избытка, но никого не было вокруг: только шелест иголок

справа и слева и холодные, осторожные взгляды обеих дам. Бесконечное сострадание охватило меня. И все же я не мог приблизиться к ней. Во-первых, что может дать пожилой человек девушке в такую минуту? И потом, мое отвращение к семейным знакомствам и, особенно, к знакомству с пожилыми дамами убивало всякую возможность сближения. Тогда мне пришла в голову замечательная мысль. Я подумал: «Молодая девушка наивна, в первый раз попала в Италию, страну, которая, благодаря англичанину Шекспиру, никогда там не бывавшему, слышит краем романтической любви, пылких Ромео, тайных приключений, падающих вееров, сверкающих кинжалов, масок, дуэний и любовных писем. Она, конечно, мечтает о приключениях, и — кто не знает девичьих грез, этих белых, пролетающих облаков, которые бесцельно плывут по лазури и по вечерам разгораются сначала розовым, потом ярким алым светом! Для нее нет невероятного, невозможного». И я решил пойти ей таинственного возлюбленного.

В тот же вечер я написал длинное письмо, нежное, скромное и почтительное, полное таинственных намеков и без подписи, — письмо, ничего не требующее, ничего не обобщающее, страстное и в то же время сдержанное — словом, романтическое любовное письмо, точно взятое из поэмы. Зная, что, гонимая своим беспокойством, она каждый день первая является к завтраку, я вложил письмо в ее салфетку. Настало утро. Я наблюдал ее из сада, видел ее недоверчивое изумление, ее внезапный испуг и яркую краску, покрывшую бледные щеки и шею; видел ее беспомощные взгляды, ее вздрагивание, воровское движение, которым она спрятала письмо; видел, как нервно она сидела за завтраком, почти не прикасаясь к еде, как убежала куда-то — наверное, в тихую, тенистую аллею расшифровывать таинственное послание... Вы хотите что-то сказать?

Я невольно сделал движение, которое должен был объяснить:

— Я нахожу это очень смелым. Разве вы не подумали, что она могла дознаться или что, проще всего, спросить кельнера, как письмо попало в салфетку? Или показать его матери?

— Конечно, я подумал об этом. Но если бы вы видели девушку, у вас не было бы на этот счет никаких сомнений. Это боязливое, запуганное милое создание со страхом оглядывалось всякий раз, как ей случалось повысить голос. Есть девушки, застенчивость которых так велика, что вы можете позволить себе, что угодно: они совершенно беспомощны и готовы все перенести, лишь бы не доверить кому-нибудь своей тайны. Улыбаясь, я смотрел ей вслед и радовался, что моя игра удалась. Вот она возвращается, — и я почувствовал, как кровь ударила мне в голову: это была другая девушка, другая походка. Она приближалась, беспокойная и рассеянная, алая волна разлилась по лицу, и сладостное смущение делало ее неловкой. И так целый день. Она бросала взор в каждое окно, как бы ища разгадку тайны; ее глаза встречали каждого проходящего; раз ее взгляд упал и на меня, но я осторожно отвернулся, чтобы не выдать себя; но в эту короткую секунду я почувствовал жгучий вопрос, который почти испугал меня; и впервые после многих лет я почувствовал, что нет наслаждения более опасного, заманчивого и губительного, чем зажечь первую искру в глазах девушки. Я видел ее потом сидящей с вытятыми пальцами между обеими дамами и видел, как время от времени она поспешно дотрагивалась до платья, до того места, где, я был уверен, она спрятала письмо. Игра показалась мне увлекательной. В тот же вечер я написал ей второе письмо, и так в течение нескольких дней: я нашел особую, волнующую прелесть в том, чтобы воплощать в своих письмах переживания влюбленного молодого чело-

века, рисовать возрастающую страсть, которая была целиком выдумана. Это стало для меня заманчивым спортом, которому, вероятно, предаются охотники, когда они представляют силки или заманивают дичь. И так неопишимо, почти страшен был для меня мой собственный успех, что я уже хотел прервать начатую игру, но жгучий соблазн приковал меня к ней. Какая-то легкость, какая-то бурная пляска появилась в походке девушки; своеобразная, лихорадочная красота изменила ее черты; ее сон был, вероятно, полон тревоги и ожидания нового письма; ее глаза по утрам были объаты тенью и горели беспокойным огнем. Она стала следить за своей наружностью, носила в волосах цветы, какая-то нежность ко всем вещам появилась в ее пальцах; в ее взоре был постоянный вопрос: из тысячи мелочей, на которые я намекал в письмах, она должна была заключить, что их автор где-то близко, как Ариэль, наполняющий воздух музыкой, витающий вблизи, тайно следящий за каждым ее шагом и, по собственной воле, незримый. Она настолько оживилась, что эта перемена не ускользнула от тупых дам: по временам они устремляли благосклонно-любопытный взор на ее торопливые движения, на ее расцветшие щеки и улыбались, переглядываясь украдкой. Его голос стал звучнее, громче, смелее, в нем появилось дрожание, как будто она собирается запеть, — вот-вот польются радостные трели, — как будто... Но вы опять улыбаетесь!

— Нет, нет, продолжайте. Я только подумал, что вы очень хорошо рассказываете. У вас — простите меня — настоящий талант, вы могли бы рассказать это, наверное, не хуже любого новеллиста.

— Этим вы, вероятно, хотите вежливо и осторожно намекнуть мне, что я рассказываю, как ваши немедкие новеллисты, с их напыщенной лирикой, растянутостью, сентиментальностью и скукой. Хорошо, я буду краток.

Марионетка плясала, и я обдуманно управлял нитями. Чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, — я иногда чувствовал, что ее испытующий взор был обращен на меня, — я дал ей повод думать, что пишущий живет не здесь, а в одном из близких курортов и каждый день переправляется сюда на лодке или на пароходе. И теперь, как только раздавался звонок пристающего парохода, она под каким-нибудь предлогом ускользала от бдительного материнского надзора, бежала к берегу и из какого-нибудь уголка, затаив дыхание, следила за приезжающими.

И вот, однажды — это было в пасмурный день, после обеда, когда я не мог придумать ничего лучшего, как наблюдать за ней, — случилось нечто из ряда вон выходящее. Среди пассажиров был красивый молодой человек, одетый с преувеличенной элегантностью итальянской молодежи. Оглядываясь кругом, он поймал отчаянно-испытующий, вопрошающий, пронизывающий взор молодой девушки. И тут же краска стыда, заливая тихую улыбку, покрыла ее лицо. Молодой человек изумился, насторожился, — что понятно для всякого, кто встретит столь горячий взор, полный тысячи недосказанных вещей, — улыбнулся и попытался следовать за нею. Она убежала, остановилась в уверенности, что это был именно он, кого она так долго искала, побежала дальше, но опять оглянулась, — это была вечная игра между желанием и страхом, между желанием и стыдом, игра, в которой пленительная слабость всегда оказывается более сильной. Он, очевидно, обнадеженный, хотя изумленный, поспешил за ней и был уже совсем близко, — я со страхом предчувствовал, как все должно было, запутаться в диком хаосе, — как вдруг на дороге показались обе дамы. Девушка бросилась им навстречу, как испуганная птичка. Молодой человек осторожно удалился, но она оглянулась, — и еще раз встре-

тились их взоры и лихорадочно впились друг в друга. Этот случай показал мне, что пора прекратить игру, но соблазн был слишком велик, и я решил использовать эту неожиданно подвернувшуюся ситуацию. Я написал ей в этот вечер необычайно длинное письмо, которое должно было подтвердить ее предположение. Меня увлекла теперь игра с двумя действующими лицами.

На другое утро меня испугало смятение, дрожавшее в ее чертах. Очаровательное беспокойство уступило место непонятной мне нервности; ее глаза были влажны и красны, как будто от слез; какое-то горе, повидимому, охватило все ее существо. Казалось, обычная ее молчаливость вот-вот прорвется и выльется в диком крике; лоб ее был омрачен; во взорах можно было прочесть мрачное, горькое отчаяние, — а я ожидал, что именно на этот раз увижу ее ясной и радостной. Мне стало страшно. В первый раз в мою игру вторглось что-то чуждое: марионетка перестала слушаться и танцевала не так, как я хотел. Я взвешивал все возможности и не мог остановиться ни на одной. Я испугался своей игры и не возвращался домой до вечера, чтобы не прочесть укора в ее глазах. Когда я вернулся, все стало ясно: стол не был накрыт, семья уехала. Она должна была уехать, не сказав ему ни слова, и не могла поведать своим близким, как жаждало ее сердце еще хоть одного дня, хоть одного часа. Ее вырвали из сладостного сна и увезли в какой-то жалкий городишко. Я уже забыл куда. И теперь я еще чувствую, словно обвинение, этот последний взгляд, эту ужасную силу гнева, муки, отчаяния и горькой боли, которую я — кто знает, на сколько времени — бросил в ее жизнь.

Он умолк. Надвинулась ночь, и от луны, затуманенной тучами, исходил странный мерцающий свет. Меж деревьями как будто висели искры и звезды — и бледная поверхность.

озера. Мы шли молча. Наконец, мой спутник прервал молчание. — Вот и вся история. Разве она не годится для новеллы?

— Я не знаю. Во всяком случае это — сюжет, который я сохранил вместе с другими и за который я вам должен быть признателен. Но как новелла?.. Хорошее вступление, которое, пожалуй, могло бы меня соблазнить. Эти фигуры только намечены, они не выявлены, это — намеки на судьбу, но не судьба. Все это надо развить до конца.

— Я понимаю вашу мысль. Жизнь молодой девушки, возвращение в маленький город, ужасный трагизм повседневности...

— Нет, не в этом суть. Молодая девушка меня больше не интересует. Молодые девушки всегда мало интересны, какими бы замечательными они ни казались: все их переживания только отрицательны и поэтому слишком одинаковы. В данном случае девушка в свое время выйдет замуж за честного бюргера, и вся эта история останется цветущим лепестком в ее воспоминаниях. Девушка меня больше не интересует.

— Это странно. Я не могу понять, что вы находите интересного в молодом человеке. Такие взгляды, такие мимолетные вспышки бывают в молодости у всякого. Большинство их не замечает, другие забывают быстро. Нужно состариться, чтобы узнать, что это, может быть, самые благородные, самые глубокие впечатления, самое святое преимущество юности.

— Молодой человек меня не интересует...

— Кто же?

— Я бы занялся пожилым господином, который писал письма. Его бы я довел до конца. Я полагаю, что нет возраста, когда можно безнаказанно писать пламенные письма и размениваться на переживания любви. Я бы попробовал рассказать, как игра превращается в действи-

тельность, как он, думая, что он владеет игрой, сам оказывается в ее власти. Пробуждающаяся красота девушки, на которую он смотрит, как ему кажется, глазами наблюдателя, влечет и захватывает его глубоко. И тот миг, когда все ускользает от него, внушает ему бурное желание овладеть игрой — и игрушкой. Меня заинтересовала бы эта ирония любви, когда страсть старого человека становится похожа на страсть мальчика: оба они чувствуют себя неполноценными. Я бы вложил в его переживания робость и ожидание. Я заставил бы его почувствовать беспокойство, последовать за ней, чтобы видеть ее, и в последнюю минуту не осмелиться приблизиться к ней. Я заставил бы его вернуться в то же самое место в надежде встретить ее, испытать случай, который всегда бывает жестоким... Вот по такой линии я мог бы представить себе развитие повеллы, и тогда она была бы...

— Лживой, фальшивой, невозможной!

Я испугался. Его голос стал резким, хриплым и дрожащим. Почти угрозой он прозвучал в ответ моим словам. Никогда я не видал своего спутника в таком возбуждении. Мгновенно я угадал, что неосторожной рукой задел больное место. И когда он вдруг остановился, я с мучительным чувством увидел, как светились его седые волосы.

Я хотел быстро перевести разговор на другую тему. Но он заговорил первым; уже тепло и мягко звучал его спокойный глубокий голос, с оттенком меланхолии:

— Может быть, вы и правы. Это много интереснее. *L'amour coûte cher aux vieillards*,¹ — так, кажется, называл Бальзак один из самых трогательных своих рассказов, и много рассказов можно было бы написать под этим заглавием. Но пожилые люди, которые знают всю тайну этих

В старости любовь дается дорогой ценой. — *Прим. перев.*

переживаний, любят рассказывать лишь о своих успехах, умалчивая о своих неудачах. Они боятся стать смешными в ведах, которые в каком-то смысле служат маятником вечности. Вы верите, что действительно «потеряны» те главы в мемуарах Казановы, где он становится старым, из дон-жуана превращается в роконоса, из обманщика в обманутого? Может быть, просто рука его отяжелела, и сердце сжалось?

Он протянул мне руку. Теперь его голос звучал опять размеренно и холодно. — Спокойной ночи! Я вижу, что опасно рассказывать истории молодым людям в летнюю ночь. Это наводит на ненужные мысли и вредные сны. Спокойной ночи!

Он ушел в темноту своей эластичной, но отяжеленной годами походкой. Было уже поздно. Но усталость, обычно рано овладевавшая мною в теплоте этих мягких ночей, сегодня была рассеяна возбуждением, которое охватывает человека, когда с ним случается что-нибудь необычайное или когда чужое на миг становится его собственным. По тихой темной дороге я дошел до виллы Карлотта, мраморная лестница которой спускается к озеру, и сел на холодные ступени. Была чудесная ночь. Огни Белладжии, которые прежде сквозь листья деревьев блистали близко, как светляки, казались теперь бесконечно далеко над водой и медленно утопали один за другим в тяжелом мраке. Молчаливо покоилось озеро, сияющее, как черный бриллиант, в оправе причудливых огней. И, словно бледные руки по белым клавишам, набегали и отступали, с легким всплеском, волны по каменным ступеням. Бесконечно высоким казался небесный свод, на котором искрились тысячи звезд. Они сверкали в спокойном молчании; иногда только вырвется одна из них из алмазного хора и внезапно упадет в летнюю ночь, — упадет во мглу, в долины, в ущелья, в горы или в далекие воды, брошенная слепой силой на землю, как жизнь в стремнины неведомой судьбы.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Предисловие М. Горького	7
Предисловие Стефана Цвейга к русскому изданию собрания сочинений	11
Стефан Цвейг. Опыт характеристики. Проф. Рихарда Шпехта	13
Рассказ в сумерках	57
Гувернантка	95
Жгучая тайна	
Партнер	115
Быстрая дружба	120
Трио	126
Атака	130
Слоны	135
Перестрелка	138
Жгучая тайна	143
Молчание	148
Лжецы	153
Следы при лунном свете	160
Нападение	166
Гроза	169
Первая школа	175
Непронидаемый мрак	179
Последний сон	183
Летняя новелла	191

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная, д. 4. Тел. 184-61

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

единственное на русском языке, разрешенное автором,

предисловиями

М. ГОРЬКОГО

И АВТОРА,

специально написанными для русского издания, с критико-биографическим очерком Рихарда Шпехта (Вена) и портретом автора, сделанным для Изд-ва «Время» **ФРАНЦЕМ МАСЕРЕЛЬ** (Париж).

Т. I. ЖГУЧАЯ ТАЙНА. Изд. 3-е. Стр. 208. Ц. 1 р. 20 к.
в переплете 1 р. 50 к.

Т. II. АМОК. Изд. 3-е. Стр. 236. Ц. 1 р. 50 к., в пер. 1 р. 80 к.

Т. III. СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ. Изд. 3-е. Стр. 224. Ц. 1 р. 30 к.
в переплете 1 р. 60 к.

Т. IV. НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. *Содержание:* Лепорелла. — Незримая коллекция. — Принуждение. — Случай на Женевском озере. — Страх. — Тайна Байрона.
Изд. 3-е. Стр. 192. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.

Т. V. РОКОВЫЕ МГНОВЕНИЯ. *Содержание:* Легенда о се-страх-близнецах. — Глаза извечного брата. — Лионская легенда. — Роковые мгновения: Миг Ватерлоо. — Мариенбадская элегия. — Открытие Эльдорадо. — Смертный миг. — Борьба за южный полюс.
Стр. 176. Ц. 1 р. 20 к., в переплете 1 р. 50 к.

Т. VI. ПЕВЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ЛЕВ ТОЛСТОЙ.
Стр. 160. Ц. 1 р., в переплете 1 р. 30 к.

Т. VII. *Готовится к печати.*

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная, д. 4. Тел. 184-61

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
СТЕФАНА ЦВЕЙГА

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:

«Стефан Цвейг — один из наиболее сейчас распространенных в Германии беллетристов — обязан своею популярностью действительно виртуозному литературному письму...».

«Печать и Революция» 1926 г., № 3.

«...Стефан Цвейг — один из лучших писателей Запада, и мы горячо рекомендуем его молодому поколению. Цвейг покоряет, прежде всего, своим литературным талантом. Самые щекотливые темы Цвейг передает иногда прямо с потрясающей силой, всегда с поразительной тонкостью и чуткостью».

«Смена», Ленинград, 16. I. 1927 г.

«Это только средневековые умело так взволнованно рассказывать о любви, страстной, всепожирающей любви, полной страдания и самоотречения, неразделенности и жертвенности... Но невольно приходит на ум именно эти средневековые легенды, когда зачитаешься рассказами Стефана Цвейга...».

«Красная Газета» веч. вып. Ленинград, 1925 г., № 312.

«...Автор подходит к своей теме с великой чистотой, с глубокой серьезностью и, всюду говоря об Эросе, никогда не унижается до низменной эротики...».

«Жизнь Искусства», Ленинград, 1925 г., № 29.

«Стефан Цвейг — природный художник, творчество которого не зависит от войны или мира. Лирик, повелитель, критик, драматург, рассказчик и переводчик, Стефан Цвейг рано достиг известности, заставляя с высоким мастерством звучать любую струну...».

«Красная Газета», веч. вып. Ленинград, 1927 г., № 37.

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

ВЫШЛИ В СВЕТ:

БЭДЭЛЬ, М.—Любовь на 60° северной широты.
Роман. Перевод с французского С. М. Гершберг.
Стр. 216. Ц. 1 р. 35 к.

БОСТ, П.—Смерть г-на Жюльена.
Перевод с французского Л. С. Утевского. С иллюстрациями работы И. П. Акимова. Ц. 90 к.

БРОМФИЛЬД, Л.—Хорошая женщина!
Роман. Перевод с английского Л. Домгера. Стр. 280.
Ц. 1 р. 90 к.

БРУССОН, Ж. Ж.—Из Парижа в Буэнос-Айрес.
Перевод С. М. Гершберг и А. С. Кулишер, под ред. проф. А. А. Смирнова. Стр. 256. Ц. 1 р. 75 к.

БУТЭ, Ф.—Двойник Клода Меркера.
Роман. Перевод Ю. Султанова. Стр. 112. Ц. 70 к.

ВАЛЬМИ-БЭСС.—Карьера Женевьевы Мато.
Роман. Перевод с французского Ек. Андреевой.
Стр. 232. Ц. 1 р. 50 к.

ВУАЗЭН, Ж.—Семья Лоранти.
Роман. Перевод с французского Е. Ральбе и Е. Соловейчик. Стр. 164. Ц. 1 р. 25 к.

ГОЛЬ, И.—Микроб золота.
Роман. Перевод с французского Е. С. Код. Стр. 112.
Ц. 75 к.

ГРО, Ж.—Лучшее в ее жизни.
Роман. Перевод с французского П. Н. Ариан.
Стр. 180. Ц. 1 р. 20 к.

ГРИН, Ж.—Адриенна Мезюра.
Роман. Перевод с французского Е. С. Код. Стр. 256.
Ц. 1 р. 60 к.

ГЭЛСУОРСИ, Д.—В тисках.
Роман. Перевод с английского В. Харламовой и Н. Ледерле под ред. А. А. Смирнова. Стр. 312.
Ц. 1 р. 90 к.

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Стремянная ул., 4. Телефон 184-61

ВЫШЛИ В СВЕТ:

ДРО, Ж.—Похождения Галлюпена.

Роман. Перевод с французского Г. И. Гордона.
Стр. 288. Ц. 1 р. 65 к.

ЖЕНЕВУА, М.—Радость.

Роман. Перевод с французского З. Львовского и
Е. Коц. Стр. 248. Ц. 1 р. 60 к.

ЗУДЕРМАН, Г.—Жена Стеффена Тромхольта.

Роман. Перевод с немецкого Б. Евгениева и Е. Блок.
Стр. 484. Ц. 3 р. 40 к.

КОНРАД, Дж.—Ностромо.

Роман. Перевод с английского Марка Волосова.
Стр. 372. Ц. 2 р. 85 к., переплет 25 к.

КОРТИС, А.—Только для меня.

Роман. Перевод с французского В. А. Розеншильд-
Паулина. Стр. 192. Ц. 1 р. 10 к.

КЭРС, Д.—Горизонт.

Роман. Перевод с английского Н. Н. Шульговского
и Б. П. Спиро. Стр. 232. Ц. 1 р. 60 к.

ОСТЕНСО, М.—Шальные Кэрю.

Роман. Перевод с английского Н. Н. Шульговского
и Б. П. Спиро. Стр. 256. Ц. 1 р. 90 к.

ПАЙРО, Р.—Приключения внука Хуана Морейры.

Роман. Перевод с испанского В. В. Рахманова.
Стр. 160. Ц. 1 р.

ПАСКАЛЬ, Э.—Черный лебедь.

Роман. Перевод Е. Э. и Г. П. Блок.
Стр. 272. Ц. 1 р. 65 к.

ПИРАНДЕЛЛО, Л.—Отвергнутая.

Роман. Перевод З. Львовского и Е. С. Коц. Стр. 216.
Ц. 1 р. 45 к.

ПИРЛ, Б.—Мать и дочь.

Роман. Перевод с английского Д. Майзельса и
В. Ильичевой. Стр. 304. Ц. 1 р. 90 к.

КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО
ТРЕБОВАНИЮ БЕСПЛАТНО

ВЫШЛИ В СВЕТ:

РОДА-РОДА.—Сын тринадцати отцов.

Роман. Перевод с немецкого М. Н. Цейнера под редакцией А. Н. Горюна. Стр. 240. Ц. 1 р. 75 к.

САВИНЬОН, А.—Приключения капитана «Авессалома».

Роман. Перевод с французского Э. Львовского и Е. Код. Стр. 240. Ц. 1 р. 50 к.

СТРИБЛИНГ, Т.—Красный песок.

Роман. Перевод с английского Марка Волосова. Стр. 248. Ц. 1 р. 50 к.

УНДСЕТ, Э.—Весна.

Роман. Перевод с норвежского Е. Н. Благовещенской. Стр. 216. Ц. 1 р. 60 к.

ФИЛИПС, Г.—Падение Сюзанны Леннокс.

Роман. Перевод с английского Марка Волосова. Стр. 352. Ц. 2 р. 20 к.

ФИЛИПС, Г.—Возвышение Сюзанны Леннокс.

Роман. Перевод с английского Марка Волосова. Стр. 304. Ц. 1 р. 90 к.

ХЕРГЕШЕЙМЕР, Д.—Тампико.

Роман. Перевод с английского Марка Волосова. Стр. 264. Ц. 1 р. 50 к.

ЭЛЬСЕР, Ф.—Жгучее желание.

Роман. Перевод с английского Е. Фортунато под редакцией А. Л. Домгера. Стр. 288. Ц. 1 р. 80 к.

ЭНТИН, М.—Обетованная земля.

Перевод с английского Б. П. Спиро. Стр. 288. Ц. 1 р. 75 к.

ЭСКОЛЬЕ, Р.—Кантегриль.

Роман. Перевод с французского Е. Н. Князьковой и Н. Д. Румянцевой под ред. А. А. Смирнова. Стр. 180. Ц. 1 р. 25 к.

ЭСТОНЬЕ, Э.—Вещи видят.

Роман. Перевод с французского В. М. Вельского. Стр. 272. Ц. 1 р. 85 к.

ЭСТОНЬЕ, Э.—Лабиринт.

Роман. Перевод с французского В. М. Вельского. Стр. 240. Ц. 1 р. 70 к.





